

84Р7(2Р-4Кем)

Л 64

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУЗБАСС

9 мая 1995

К 50-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



7164717



С. Арустов „Мать“.

84 p7 (2p-4kem)

164

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУЗБАСС

№ 1 (120)

Издается с 1949 года

До 1988 года —
«Огни Кузбасса»

ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редакционная
коллегия:

Валерий ЗУБАРЕВ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Любовь НИКОНОВА

Виль РУДИН

Зинаида ЧИГАРЕВА

Учредитель —
Кемеровская
областная организация
Союза писателей РоссииИздательство
«Ковчежек»
1995

В НОМЕРЕ

Михаил Небогатов. Русский человек. Стихи	3
Владимир Мазеев. Другая война	4
Геннадий Емельянов. Сказ о сибирской броне	7
Михаил Небогатов. Танки. Стихи	11
Евгений Буравлев. «А вы смогли б свободно, просто...».	
«Пусть вовеки живут...» «Военные годы...». Стихи	15
Владимир Мамаев. Тишина. Матери. «Созрела рожь...».	
Родина. России. Стихи	16
Виль Рудин. Бородино—Испытание боем. Из докумен- тальной повести	19
Михаил Небогатов. Когда пройдет в душе невзгода: Полдень. На передовой. Встреча с Героем Советского Союза. После боя. Стихи	39
Юрий Котляров. Запомните их поименно: Два Алексея. «Мне скучно без самолета». Один из шестна- дцати. Командир легендарной восьмерки. Ночь длиною в километр	41
Вениамин Власов. Из фронтовых будней. Обор- ванная тишина. Фронтовые сюрпризы. Две встречи	59

Адрес редакции:
650099, Кемерово,
проспект Советский, 40,
тел. 26-71-62

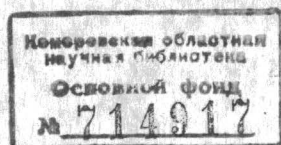
Редакция рукописей
не рецензирует,
а только сообщает
о своем решении.

Редактор-составитель
З. А. Чигарева
Коммерческий директор
Л. Т. Скорик
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Корректор
Т. Н. Чурсина

Номер выпущен
при финансовой поддержке
администрации
Кемеровской области

На первой
стр. обложки
А. Н. Кирчанов
«На привале».

На четвертой
стр. обложки
И. И. Филичев
«Старики».



Л 4702010200
ЛР № 030501 Без объявл.
—95

Анатолий Козлов. «Мне сорок лет...». Стихи. Михаил Борисов. «Сорок третий горечью полынной...». Стихи	64
Девять писем с фронта. Письма Н. Г. Ушакова к жене и дочери. Из воспоминаний Н. Г. Ушакова	65
Игорь Киселев. Яблоко. Стихи	72
М. Кушникова. Жестокая купель. Из документальной повести	74
Владимир Куропатов. Обратные журавли. Рассказ	96
Любовь Скорик. Анфисин патефон. Рассказ	102
Владимир Мазаев. Ночь тихая, гулкая. Рассказ	109
Валерий Зубарев. Монолог телезрителя. «Отец мой, ты сын мой...». Ветеран. Стихи	116
Иосиф Куралов. Для мелкого в огромном месте нет. Отрывок из поэмы	117
Геннадий Естамонов. Прощание с Верхотомским гнездом. Повесть	119
Свой голос нового поколения	131
Антонина Трофимова. «Каждый раз попадая впросак...» «Три толстые тетки в обнимку идут...» «Я когда-то уйду навсегда...» Стихи	132
Артем Шумов. Это мой дед. Очерк	132
Елена Солодянкина. «А мне ковер пушистый на диван...» «Ты вспомнить попробуй...» Стихи	136
Елена Кочубей. Я еще найду. Рассказ	136
Николай Долженков. Осень. Весна. Стихи	138
Максим Линник. Мечта. Стихи	139
Андрей Кушнарев. Забыть детство. Отрывок из повести	139
Екатерина Зайцева. «Я жду ответного удара...» «Я не могу подняться в небеса...» Орган. Стихи	141
Артур Комков. Тайна Вселенной. Стихи	142
Андрей Павлов. Поминки. Рассказ	142
Дмитрий Мурзин. «Под перитмичный молоток...» «Растительность уходит из-под ног...» «Компьютер любви рифмует двончные коды...» «Я с тобою сыграл в безупречность...» Стихи	144

Сдано в набор 20.02.95. Подписано к печати 24.05.95. Формат 70х90^{1/16}. Бумага типографская. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,53+0,585 вкл. усл. п. л. Усл. кр.-отт. 11,85. Уч.-изд. л. 11,94. Тираж 3500. Заказ № 556. Цена свободная. ЛР № 030501 от 03.03.95. Издательство «Ковчезек» Кемеровской областной организации Союза писателей России, 650099, Кемерово, Советский пр-т, 40. Кемеровский полиграфкомбинат. 650099, Кемерово, ул. Ноградская, 5.

© Коллектив авторов, 1995

Михаил Небогатов

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Все войны свой конец имеют,
И эта кончилась война.
Вначале словно онемеют
Просторы, где была она.
Последний раз провоет миной,
Просвищет пулей — и конец.
Над речкой, сопкой и равниной
Умрут железо и свинец.
Никто, наверно, не поверит
Счастливой яви, точно сну,
И каждый вечностью измерит
Ту фронтовую тишину.
Растает дым над полем боя,
И с величавой вышины
Увидит небо голубое
Следы ужасные войны.
Войдут в историю навеки
Дела сороковых годов.
Текут, алея кровью, реки,
Чернеют груды городов.
Опишет в будущем историк
Неповторимый путь борьбы,
Который был тяжел и горек,
Как испытание судьбы.
И будет памятник построен
Незабываемый навек:
Стоит бессмертия достоин
Непобедимый, грозный воин —
Великий русский человек.

1943

Владимир Мазаев

ДРУГАЯ ВОЙНА

Свои первые, самые счастливые четыре с половиной года жизни я прожил с отцом, матерью и старшей сестрой в селе Куртуково, на высоком солнечном берегу говорливой речки Кондомы. Это под Новокузнецком, четыре остановки на пригородном.

Мой отец, Михаил Ермилович, работал заведующим Куртуковской школой. Он был взят декабрьской ночью 37-го. Сразу же после «суда», который состоялся на второй день после ареста (статья 58), был расстрелян в подвалах Старокузнецкой тюрьмы. Подробности эти я узнал лишь недавно. Было отцу 33 года...

Наша мама, кинув опустевший дом, перебралась с нами двумя в город, где нас тихо приютили родственники.

В сентябре 1941 года, когда всю громухала война, я отправился в первый класс.

Дом, где мы нашли приют, стоял на склоне с прекрасной березовой рощей. Из высоких окон видна была вся развороченная котловина строящегося «города-сада» — бараки, бараки, заборы, жалкое корье землянок, дощатые тротуары, в паутине строительных лесов шеренга многоэтажных зданий, снова заборы, бараки, а вдали грудой длинно дымящих головешек — Кузнецкий металлургический комбинат...

Но чуть правее всей пестрой и унылой мальчишескому глазу панорамы, за крутобережьем Томи, вставали горы. Над горами в ясные дни таинственно и маняще проступали серебри-

стые облака — снежные горбы Алатау, по-местному «белки». Там был какой-то другой мир, доступный мальчишке лишь в воображении.

Получив специальность, я уехал из Новокузнецка. И вскоре, с журналистской командировкой в кармане, неожиданно для себя, очутился у самых подножий алатауских белков, которые в детстве так манили меня своим романтическим чистым блеском.

Мир здесь оказался действительно другим, однако романтикой и не пахло. Пахло людской драмой. Я точно упал с небес на землю. В таежных, приплюснутых снегами поселках жило и трудилось (кто вольно, кто поселенцами), к моему удивлению, много всякого люда. Лесорубы, буровики, проходчики разведочных шурфов и штолен, геофизики и всякие разнорабочие. Многие, если не большинство, вчерашние фронтовики.

Все это были люди сложных, часто трагических судеб. В их душах и в их биографиях еще свежо, ранимо звучало эхо Великой войны, переплетаясь с эхом политических репрессий.

Они увидели в Европе другую жизнь и сами стали другими. А я их глазами увидел другую войну. И мои со школы зазубренные «10 сталинских ударов» они воспринимали так же, как позднее воспринимали полководческий орден «Победа» на груди неизвестного им, фронтовику, полководца Брежнева.

Мне удалось подружиться с этими

людьми. Я стал их частым гостем, а иногда надолго оставался, «меняя» профессию. Две мои первые толстые книжки, скрупулезно прощенные цензурой, были об этих людях...

Владимир Аскольдович Власов, узник концлагеря Заксенхаузен под Берлином (кара за два побега из лагеря военнопленных), прошедший полной мерой и наши фильтрационные зоны, возглавлял в 60—70-е годы геолого-разведочные партии в самых что ни на есть медвежьих углах Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Это Аскольдович, как все звали его в партии, скупно, но доходчиво объяснил мне, зеленому журналисту, разницу между гестаповцами и чекистами: «Те били, чтобы говорил правду, а эти били, чтобы говорил ложь».

Но что все-таки лежало в сердцеvine нашей победы? Не только же неимоверные по своим масштабам жертвы!

В кровавые месяцы подмосковных боев пришло к народу глубинное осознание действительно последней черты.

И возникло, и объяло страну совершенно особое нравственно-психологическое поле. Поле единой «почвы и судьбы».

И народ наш, совсем было сбитый с ног, напрягся и устоял, выпрямился—и оттолкнулся от края. Так оживает дерево, крона которого уже смертельно заломана бурей, но корни еще глубоки и животорны.

«Мы победили вопреки бесчеловечной системе, потому что неистощим был народный дух, величественный в своей мощи и благородстве. Мы были едины в борьбе против общего врага» (генерал и историк Д. Волкогонов).

Германский фашизм был разгромлен. За ценой мы не постояли. Точку ему поставил Нюрнбергский процесс. Это общеизвестно.

Не бывало истории горше и тяжелее, чем наша.

Вдовья скорбь не утихла еще по убиенным и невернувшимся, как приоткрылась ошеломившая всех жестокая правда волчьих «тридцать седьмых» годов, обезглавивших в самый канун войны нашу армию. Приоткрылась правда и самой войны, но только чуть-чуть, чтобы тут же вновь кануть на три десятилетия в черные дыры спецхранов.

На полке у меня, рядом с томиками «Архипелага ГУЛАГ», кусочек колючей проволоки. Я поднял его несколько лет назад с земляной тюрьмы севернее Мариинска, когда мы, группа писателей, разыскивали могилу узбекского поэта Усмана Насыра, сгинувшего в здешних лагерях в 1944 году. На потолочных балках-рельсах этого зловещего средневекового сооружения я увидел надпись: «КМК им. Сталина». Так вот—странность какая: проволока вся съедена ржавчиной лет, а жало ее колючек по-прежнему остро. Проведешь по ногтю—царапина.

Фашизм—он везде фашизм. И никто еще не доказал, что морозы Сибири и Колымы были гуманнее печей Трелинки и Освенцима.

В могилах воинских захоронений, на дне океана вечности, лежат солдаты минувшей войны. Лежат—сосчитанные на круглые миллионы.

В пятидесятый раз зелень и цвет весны обнимут братские уплотненные временем курганы. Уплотнилась над курганами и тишина. И ни поминальный звон, ни раскаты майских громов, ни птичий щебет и ни рокот трактора на пахотном поле—не помеха этой святой тишине.

По городам и весям Сибири стоят обелиски. Они—символ и условный знак, скудная наша дань скудной нашей памяти. Большинство безымянны

и немцы, на других журавлиными лентами—имена, имена, имена...

Сколько на обелиске имен—на столько родных могил осиротел местный погост. И чем больше на нем имен—тем сиротливее погост. Такая вот «смертная связь». И некуда пойти прислониться печалющемуся сердцу, кроме как к этому символу...

Печальны лица военных дат.

Даже влитых в скрижали мировой истории.



Здравствуйте, дорогие мои!

Срок нашего обучения в Н-ском артиллерийском училище окончен. Сейчас мы командиры-артиллеристы. И если придется драться с немцами, то знайте, что я не подкачаю, вам придется гордиться своим сыном.

О. Тарский

1 сентября 1941 г.

...Все чувства стремятся к тому, чтобы быстрее сломить голову проклятому фашизму. За воспитание наше мы благодарим мать-Родину, а коли умереть придется, так умирать будем с толком...

Олег

Сентябрь 1941 г.

...Заверяю тебя, мама, я готов в любую минуту сражаться с врагом и бить его во все концы. Да, бить будем крепко.

Я писал дяде Коле о своей попытке ехать на Западный фронт. Я не хуже других, а в некоторых случаях и лучше могу переносить всевозможные марши, длительные походы и переносу, как командир имею возможность в этом отношении подавать пример своим подчиненным...

Твой сын Боря

Выдержки из писем фронтовиков взяты из книги «Письма фронтовые» (Кемеровское книжное издательство, 1967 г.).

Даже меченных сладким словом «Победа».

Не многие уже крепко поседевшие фронтовики соберутся на светлых площадях Победы в мае 1995-го. Жизнь—штука неумолимая. И надо бы что-то сказать им, нашим славным старикам-победителям. Какие-то единственные слова. Но нету у меня таких слов. Все мои слова для них—бедны, прилизительны. Я могу только помолчать. Но это не будет молчанием мудрости...

Простите меня...

**СТРОКИ,
ОПАЛЕННЫЕ
ОГНЕМ**

20 июля 1941 г.

У
кая
под
ной
рял
пото
ши
рвс
реку
лас
М
Н
тур
лас
и м
раз
лова
чал
свал
вих.
Н
умо
«Ка
точ
огон
М
ным
под
Кур



Геннадий
Емельянов

СКАЗ О СИБИРСКОЙ БРОНЕ

1

Утром по радио передали: немецкая армия сдалась, в городе Берлине подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции. Известие это повторялось чуть ли не каждые полчаса, потом читались стихи о том, что наши боги войны зачехлили пушки и у русского солдата теперь вечный перекур, над миром взошло наконец ласковое солнце Победы.

Мы выстояли!

На площади перед Дворцом культуры металлургов раным-рано собралась толпа. Люди ждали речей и музыки, а не дождавшись, ручьями разлились по улицам. В тот день целовались незнакомые, в тот день качали солдат, качали так, что с них сваливались фуражки и колесами вихляли по асфальту.

Ночью кто-то пускал ракеты, не умолкали гармошки и баяны. Пели «Катюшу», «Синенький скромный платочек...» и «Бьется в тесной печурке огонь...».

Мой город-работяга ликовал с полным правом—ведь он тоже дрался и под Москвой, и в Сталинграде, и на Курской дуге, он дошел до рейхстага

и поставил победную точку под словом «конец».

После битвы под Москвой к нам в Новокузнецк железнодорожные составы повезли мятое и горелое крупновское железо—на переплавку. На площади перед заводом долго лежал сбитый в советском небе немецкий самолет, он был закопчен и напоминал старую ворону, застреленную из дробовика. Самолет, как понимаю теперь, приволокли сюда с умыслом поднять боевой дух глубокого тыла. Боевой дух никогда не падал у сибиряков, однако и посмотреть на поверженного врага воочию тоже ведь не мешало.

Мой город работал дни и ночи. Мой город недоедал. То был, конечно, не блокадный Ленинград, но жилось туго. Заводские ударники получали талоны на суп сверх положенного. На территории КМК появились свинарники, наспех сколоченные из горбылей. Стук колес не затихал по весне и осенью—это сажали картошку, потом возили ее с полей, запрягшись в оглобли самодельных тележек.

От нас бесконечно шли эшелоны с металлом—на Запад.

В ночь на 24 июня 1941 года у меня состоялся телефонный разговор с наркомом черной металлургии Тевосяном, который поставил задачу организовать производство танковой брони на Кузнецком комбинате в связи с тем, что мариупольский, сталинградский и ленинградский заводы, производившие эту броню, оказались вблизи зоны военных действий.

Задача была неожиданной и необычной.

Из воспоминаний бывшего главного инженера КМК
Л. Э. Вайсберга

Никто не знал на Кузнецком комбинате, как варить танковую сталь в большегрузных мартеновских печах с шамотной кладкой (такие печи называются основными). В мировой практике прецедентов тоже не было. Одним из первых в России корабельную броню начал выдавать Ижморский завод под Ленинградом, крупным же теоретиком по этой части считается до сих пор Анатолий Никанорович Фарфурин, который был начальником отдела центральной лаборатории там, в Ижорске. В моем же городе есть человек, Сергей Васильевич Баранов, он, еще мальчишкой, затачивал для знаменитого инженера карандаши (жили по соседству) и наблюдал его в частной жизни. С близкими неистовый Фарфурин был суров, капризен и умел кидать в прислугу тарелки так быстро и ловко, что из них не выплескивались ни кисель, ни каша. У Анатолия Никаноровича были парализованы ноги, к месту службы он ездил на лондо, с товарищами и коллегами держался интеллигентно и даже застенчиво. Умер Фарфурин рано, но успел внести поистине неоценимый вклад в развитие отечественной металлургии.

Однако вернемся к звонку наркома Тевосяна.

Главный инженер комбината получил тогда на размышления меньше половины суток. Сталь, само собой, проблема номер один, но справятся

ли с броневым листом прокатчики? Ночью в обжимном цехе был проведен эксперимент, он с потугами, но удался. Стало очевидным: после некоторой модернизации и доводки оборудования задача в принципе разрешима. Министерство тут же предложило сделать одну из основных печей кислой (то есть заменить шамотную кладку диносовой) и приказом от 21 июля 1941 года обязало комбинат начать выпуск брони. Вскоре печь с кислой подиной была поставлена на сушку.

Вот хроника событий.

В моей папке лежит пожелтевшая бумага — командировочное удостоверение. «Выдано инженеру-металлургу тов. Еромницкому С. М. в том, что он командирован на Сталинский металлургический комбинат для выполнения специального задания». Командировка была выписана 29 июня 1941 года. Семена Михайловича Еромницкого, мастера Ижорского завода, послали с двумя сталеварами консультировать сибиряков. Овчинка, безусловно, стоила выделки: маленькая эта группа специалистов оправдала самые высокие надежды.

В конце июня директор КМК Роман Васильевич Белан вызвал начальника первого мартеновского цеха Алексея Алексеевича Сахарова, инженера по спецсталим Ивана Петровича Зотенко и велел им назавтра же ехать в Мариуполь перенимать опыт. Время

не терпело, и потому директор сказал:

— Явитесь к четверем. До Новосибирска допрыгаете на моем самолете, дальше тоже путь открыт — места заказаны по распоряжению сверху, — и директор показал пальцем на потолок. — Учитесь там хорошо и быстро. Нам некогда слушать академиков в светлых аудиториях, у нас война на шее. Но вы мужики ушлые. Самых хватких и посылаю. — И директор неожиданно добавил: — Жара, ребята, спаса нет! Сейчас бы на речку, а?

Разом посмотрели в окно. Сизое небо чуть подбеливали далекие облака, они стояли неподвижно, будто приклеенные. Никли от зноя тополя.

— У меня все, товарищи, — директор вытер платком круглое свое лицо. — Завтра за ручку попрощаемся.

На следующий день инженеры дожидались команды. Однако ждали они напрасно — после пяти часов, ближе к вечеру уже, спустилась на первый этаж секретарша Белана и передала слова «самого»: чемоданы распаковать, потому что под Мариуполем немец. А немец опытом не делится, он стреляет.

Второго июля на другом конце страны директор ЦНИИ-48 в Колпино под Ленинградом собрал ведущих исследователей и объявил: завтра, именно завтра (промедление смерти подобно!), четыре группы, сформированные институтом, направляются на предприятия Урала и Сибири для налаживания производства броневой стали. Срок командировки — три месяца. Никто не предполагал тогда, что некоторые колпинцы вернутся назад лишь через три года. Другие — чуть раньше. Война ведь только начиналась.

Кузнецкую группу из девяти человек возглавил Михаил Абрамович Маршов. Ехали на восток в теплушке, прицепленной к составу особого назначения. На открытых платформах

стояли ящики, прикрытые брезентом. В хвосте маячили солдаты с винтовками. Солдаты не строжились, и в самую жару молодые инженеры загорали, развалясь на горячем брезенте, убивали время как могли. И даже коллективом стихи сочинили:

К чему слова? Слова пусты,
Быстрой, товарищи, в кусты!

Теплушки все-таки не классные вагоны, в теплушках нет туалетов и прочих умывальников. Случилось и ЧП: на Урале двое, отлучившись по необходимости, куковали до следующего поезда. Выручили круглые печати на командировочных удостоверениях и магические строчки насчет спецзадания. Иногда, особенно почками, паровоз тащил, оглушая дали тревожными гудками, одну лишь теплушку с ленинградскими инженерами. Тогда пассажиры просыпались (сильно болтало), говорили шепотом и вдруг начинали понимать всю важность своей миссии. Они не зажигали огня, заботы гнали дрему.

В Новокузнецке (тогда Сталинск) группу М. А. Маршова встретили гостеприимно, даже устроили банкет, как в старые добрые времена, кормили особо: на десерт подавали виноград, а годом позже Михаил Абрамович Маршов на дальнем полигоне, где пушками испытывали сталь, срезал с грядок стручки фасоли миниатюрными дамскими пожницами и был выше насмешек. Все это произойдет позже. Будут талоны к праздникам и очереди за крупой. И картофельные эпопеи, и сон на продавленных казенных диванах под стон и грохот машин. Моментами тогда казалось, что война была всегда и что она не имела начала.

Сергей Васильевич Баранов, единственный, кто остался из той группы в Сибири навсегда, вспоминал как-то с грустной усмешкой:

— На майские праздники, если не ошибаюсь, Маршов выделили американские шнурованные ботинки на толстой подошве и цвета под яичный желток. Уютная обувь и на два века. Маршов задумчиво сказал тогда, любясь ботинками: «Я понимаю американцев, в такой обуви они нескоро в Европе появятся со вторым фронтом — тяжело в этих ботинках ходить и пор-

тить их жалко, очень уж красивые, не рязанские лапти».

Сразу по приезде колпинцы из ЦНИИ поняли, что технические инструкции, которые они привезли, в условиях КМК не имеют ни цены, ни пользы и что решающие моменты технологии нужно, по существу, создавать заново.

3

Спецовка моего первого подручного так пропиталась потом, что стояла колом. Сбросили мы спецовки и работали в одних рубашках. Беру наконец пробу. Вылил металл из ложки, прынули искры. Значит, с углеродом нормально. Следует команда: «На выпуск!» Всё. Точка. Так мы впервые в сентябре 1941 года сварили броню за одиннадцать часов вместо восемнадцати.

Из воспоминаний бывшего сталевара КМК, лауреата Государственной премии **А. Я. Чалкова**

В годы войны я соревновался с летчиком по фамилии Молодчик. Он был дважды Героем Советского Союза, летчиком-бомбардировщиком дальнего действия. Возвратившись с задания, он писал мне: «Ваш металл полностью использован по приказу военного командования».

Из воспоминаний бывшего сталевара КМК
И. Я. Васильева

За скоростную плавку, тем более первую, полагалась премия. Еще цитирую Александра Яковлевича Чалкова: «Прибегает тут начальник цеха Алексей Алексеевич Сахаров, с ним заместитель Михаил Борисович Зильберштейн и начальник смены Леонид Сергеевич Климасенко. Вручают премию натурой — буханку хлеба, немного мяса и вдобавок — пол-литра водки. Водку мы тут же выпили — за успех и за победу».

Рекорд проклюнулся в сентябре, сперва же о рекордах и не помышляли — не до жиру, быть бы живу — и по возможности придерживались канонов. Начали с так называемого дуплекс-процесса: в одной печи, с основной подиной, варили шихту, в другой

же доводили сталь до нужных кондиций. Шлак скачивали деревянными гребками — бревешками, насаженными на железные прутья. За плавку сгорало начисто пятнадцать-двадцать таких гребков, штыри же иставали и ломались, будто соломенные. В печах пахло лесным пожаром, дым винтился вокруг столбов света, падающих сквозь грязные стекла, и взмывал под крышу. Сталевары, подавшись вперед (раз-два, взяли!), шуровали деревяшкой в огненном чреве печи, где под шапкой алого шлака кипел металл. На рябой поверхности стали танцевали, раздувая шеи, маленькие кобры. Потом сталевары и подручные чередом и пьяной походкой тянулись к газировке, отдыхали на скамейках

возле железнодорожных путей, проложенных посреди цеха, утирая лица жесткими верхонками. Случалось, и падали в обморок. Те особенно, кто был помоложе. Двужильные сибирские мужики когда и жалели слабых скупой жалостью, качали головами: — Харч, конечно, не тот, но сдюжим. И сдюжили.

Броневая сталь пошла, однако давалась она слишком дорогой ценой: плавки затягивались без малого на сутки, а для войны это роскошь. Фронт требовал. На стол директора каждый день ложились телеграммы с пометками «Срочно», «Молния», «Правительственная»: «Дайте, отгрузите, выручайте!»

Мастер по спецсталим Иван Петрович Зотенко, пенсионер в наши дни, советовал мне найти в документах по крайней мере две даты: начало реконструкции одиннадцатой печи второго мартеновского цеха, начало и конец выплавки брони дуплекс-процессом. Тогда бы мы знали с полной достоверностью день, а может, и час рож-

дения сибирской стали в мартенах с основной подиной, новым способом. К сожалению, пожалуй, нет теперь возможности назвать эту дату, потому что паспорта плавков после войны были переданы городскому архиву и позже сожжены. Архивы молчат, человеческая память ненадежна. Специалисты и сталевары в один голос говорили мне, что у нас броню в основных печах начали варить несколько раньше, чем на Магнитке. Подтвердить или опровергнуть это утверждение у меня лично тоже не было возможности, но, чувствую, истину стоит найти, раскопать, поскольку земляки мои ревнивы к таким вещам и тому есть причина — с момента пуска завода много лет Кузнецкий комбинат задавал тон во многих ведущих областях металлургии. Здесь родился не один великий почин, успешно разрешались поистине глобальные проблемы.

Срочное и чрезвычайной важности задание правительства выполняли мастера Аркадий Николаевич Томили, Петр Дмитриевич Никитин, Андрей

Михаил Небогатов

ТАНКИ

Когда, бывало,
В обороне
Нам не хватало
Больше сил
И жизнь, и смерть —
В одном патроне,
А враг атакою
Грозил,
Не знали мы
Минуты краше —
Услышать сзади
Слитный гром.
— Ребята, танки!
Танки наши
Вон показались

Над бугром!
Навстречу им
Снаряды выли,
Но танки шли,
Огнем слепя.
Всё сокрушали,
Всё давили,
Всё подминали под себя!
...И я сегодня
Рад безмерно.
В прищуре нынешнего дня
Открою вдруг:
«На них, наверно,
Была
Кузнецкая броня!»

Владимирович Нуйкин, начальник первого мартеновского цеха Алексей Алексеевич Сахаров. Во втором цехе поисками руководил его начальник Григорий Васильевич Гурский. Пост главного сталеплавильщика занимал тогда Сергей Сергеевич Гудовщиков — необычайно собранный администратор, грамотный инженер. Народ, бывало, гурьбой валит обедать, Гудовщиков же вытащит из стола морковку, кусочек сахара, подкрепится таким манером и опять при деле до глубокой ночи, а то и до утра на месте. Заметит в пролете окурков, остановится и замрет — дожидается, значит, виноватого. Сталевары друг друга пихают локтями:

— Ты бросил? Подними, не то прикипит сапогами к полу, он ведь тут до весны проторчать может, настырный мужик.

Одного сталевара из молодых инженеров Гудовщиков за элементарную оплошность снял с должности в самую горячую пору.

— Куда же я теперь? — спросил молодой специалист буквально со слезой.

— Назначаю тебя вперёдсмотрящим.

— Я, извините, не понял?

— На кораблях вроде есть такая работа — сидит матрос в бочке на самой верхотуре и землю из-под ладошки ищет, на презент рассчитывает. И ты рассчитывай.

И вперёдсмотрящий больше месяца слонялся по цеху с унылым выражением на лице, пока не взвыл натурально:

— Насмотрелся я, товарищи, аж глаза болят!

— Ладно. Насмотрелся, это хорошо, будешь диспетчером.

Сергей Сергеевич Гудовщиков умел гасить страсти и со скучноватой, продуманной последовательностью вел

подчиненных к цели кратчайшим путем.

Дуплекс-процесс никого не устраивал, слишком он был сложен и громоздок, все искали технологию проще. И снова я задал вопрос: кто был первым? Кто сказал «а»? И снова мой вопрос остался без ответа. Называли сразу Евгения Михайловича Чеботарева из колпинской группы, несомненно талантливый и дерзкий исследователь (за смелость и постоянную склонность к риску его прозвали Партизаном), Михаила Абрамовича Маршова, называли все того же Сергея Сергеевича Гудовщикова, Григория Васильевича Гурского, мастера Петра Дмитриевича Никитина. И еще многих других называли. Справедливо называли, по закону совести, поскольку творчество было коллективным, науку крепко подпирала практика, талант теоретика сочетался с «верхним чутьем» опыта, вполне сравнимого с искусством. Нашлись, разумеется, и противники всяких поисков и отступлений от проторенной дорожки — злые и влиятельные консерваторы, которые все боялись, кабы чего не вышло, но сила переломила силу — у войны свои законы, хоть риск был громаден, однако и ставкой была сама жизнь. Дуплекс-процесс сменил диффузионный метод. Результат он дал в общем-то неплохой, но плавки тоже затягивались, к тому же печи, по выражению Ивана Петровича Зотенко, были ободраны как кошки. Наконец созрела и выпестовалась мысль варить броню обычным способом и в основных печах. Это была революция в металлургии, и она свершилась.

Недавно мне довелось прочитать рукопись будущей книги Евгения Михайловича Чеботарева — того самого Партизана. Автор подчеркивает, что попытка американских металлургов изготовить броню для танков «Т-34» по заказу Советского Союза не увенча-

лась успехом. Впрочем, мы никогда и ни на кого не надеялись. И правильно делали!

Мартеновцы КМК лишь на последнем году Великой Отечественной войны увидели над головой голубое небо, заметили, что тополя опять роняют пух и сирень расцветает в срок. Сперва броню варили, едва проталкиваясь сквозь игольное ушко ГОСТов, потом началась полоса неудач. Директор комбината Роман Васильевич Белан, генерал от промышленности, опускал свою карающую длань на больших и малых, не жалея никого. С него спрашивали, спрашивал и он. Однако не помогали и самые грозные окрики. Волна докатилась до Москвы, и на комбинат прибыла чрезвычайная комиссия ЦК партии. Она не карала, но старалась помочь. Ее руководитель Федор Николаевич Пирский, специалист высокого класса, посоветовал давать прокатчикам слитки поменьше весом, и броневого лист сразу начал укладываться в кондиции. Со стороны-то оно и вправду виднее.

Ежедневно и еженощно преследовали мартеновцев неучтенные мелочи. Из лаборатории вдруг докладывают: броневого лист страдает шиферностью (есть такой термин). Значит, сталь потеряла нужную вязкость. Где зарыта собака? В другой обстановке и при других обстоятельствах, может статься, мудрые головы обсчитывали бы и обследовали узкое место технологии месяцами, но тогда на разрешение таких неувязок выделялись лишь дни и часы. Почему, скажем, шлак не тот? В цехах суматоха, все заняты поисками причин. Наконец кого-то осеняет: стоит проверить ферросилиций—он ведь американский, чужой. Снова в арбитрах химии, они дают заключение: в «приправе» много алюминия. Просто, оказывается, когда мучения позади, а истина лежит на тарелочке. Лица кругом счастливые, даже на-

чалство щедро на улыбки, цеховые светила смущенно чешут затылки—как же, мол, раньше-то не доперли, задачка-то из арифметики с картинками!

Вообще с ферросилицием на КМК хватило горького до слез. Разгружали его пацаны, которые приезжали к проходным на самодельных коньках и за пазухой приносили голубей и гоняли их под крышами в обед, улюлюкали, махая шапками. Что с них возьмешь, с пацанов, и пожилых строителей из азиатских республик, хлопкоробов, бесконечно далеких от машин и горького дыма, тоскующих по степному приволью! Грузчики никак не могли взять в толк, почему их заставляют поднимать с земли и крошки—добро бы золото или хлеб? Тогда главный сталеплавильщик Сергей Сергеевич Гудовщиков наменял в буфете мелочь и разбросал ее обильно по разгрузочной площадке. Деньги грузчики собрали.

— Это дороже. До-ро-же!—Главный сталеплавильщик, играя бровями, со значением покатав в ладони кусочек заморского сыра.

Урок был наглядным и принес пользу.

Путь из Америки в Сибирь—тернист и долог, однажды разгрузочная площадка, куда подавались кокетливо раскрашенные заморские бочки, почти опустела. Вырисовывалась вьюга жуткая перспектива: полная остановка печей, загруженных фронтowymi заказами. Тогда вспомнили, что не так уж и далеко от города есть, разведаны в свое время запасы нужного сырья, но туда нет дорог. В тайгу зимой отправилась колонна грузовиков. Когда она, поредевшая, добралась назад, когда колеса зацепились за накатанный большак, шоферы заглушили моторы и, прислушиваясь к тишине, плакали от изнеможения.

Печи на КМК не погасли!

- Вы из «Запорожстали»?
- Да, я в командировке.
- Вам нравится Новокузнецк?
- Он мне давно нравится. Я здесь жил в эвакуации, здесь потерял отца.
- Погиб на фронте?
- Он был сталеваром, погиб при аварии.
- Печально...
- Отцы наши не только ведь от пуль падали, не так ли?
- Так.

Из разговора с приезжим инженером
Ю. И. Иванкиным

Юрий Иванович Иванкин через многие годы нашел могилу отца и отвез на кладбище ограду из кузнецкого железа. Я не поинтересовался тогда, варил ли Иванкин-старший броню, но это, полагаю, не так уж и важ-

но. Он не один лежит под нехитрым памятником со звездочкой и словами: «Кончина его безвременна». Я хочу, чтобы о таких вот солдатах тыла помнили наши дети и дети наших детей.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

29 сентября 1941 г.

Дорогая Фанечка!.. В памяти всплыло, как я гулял с Вадиком в скверике (это было летом 1940 года), а потом вспомнил, как ты нас ругала: «Все вы такие, мужчины, не цените женский труд, принесли воз грязи...» А виноват был наш маленький в том, что принес в берете песочку и посыпал пол, как в скверике... Как бы я хотел быть опять в том времени, и ругала бы ты нас, мужчин, обоих с сыном, хоть с утра до вечера...

Ваш Петя

18 декабря 1941 г.

Здравствуйте, дорогие мои!

...Долго не писал, потому что в течение 55 дней находился в окружении. За это время пришлось хватить всего, так что долго не забудется. Однажды зашел в деревню, постучался в хату, а хозяйка мне через окно сказала, чтоб уходил, так как в хате ночуют немцы... Зашел в другую, там старики, доброго им здоровья, впустили меня. Бабка как посмотрела, так и в слезы, у нее сын в армии. Дали мне теплой воды умыться, накормили меня, дали белую холщовую рубаху, бордовые холстяные порты, старенький капелюх, юбку и женскую кофту с борами. Облачившись во все это, я пошел дальше и вот так прошел почти 900 километров. Что пришлось пережить за эту дорогу—описать тяжело. Скажу только, что добрые люди умереть не дали... После выхода из окружения мы снова собираемся в кучу...

Целую крепко-крепко тебя и Эрочку.

Валерий

Евгений Буравлев

* * *

А вы смогли б свободно, просто,
Вины не чувствуя ни в чем,
Свои стихи прочесть с помоста,
Где четвертован Пугачев!
Ведь вы ж могли, взойдя на площадь,
Что занял глыбища-поэт...
А здесь—подавно. Здесь же проще.
Здесь даже памятника нет!
Смогли б такие, чтоб от сердца—
От первой строчки до конца,—
Чтоб обратиться в единоверцев
На всей святой Руси сердца!
Такие, чтобы не в угоду
Ни тем, кто судьбами вершил,
Ни тем, кто в трудный час народа
Лишь под ногами мельтешил!
Смогли б!.. Добро!

Но прежде взвесьте,
Достанет ли ума и сил:
Ведь это здесь, на этом месте
Начало правды на Руси.
Здесь в честь побед салютовали,
Скорбели в годы тяжких бед,
И здесь же тех четвертовали,
Кто был предвестником побед...

Ну, кто из вас предельно честен?
Готов ли он, как на суду,
Прочесть стихи на лобном месте,
У всей России на виду?

* * *

Пусть вовеки живут
На земле пушкари.
Пусть орудия бьют
От зари до зари.
Пусть из звонкой трубы
Синева пьет горнист—
Нашей трудной судьбы
Беспокойный министр.
Чтоб почувствовать вновь,—
Не в бою, не в огне,—
Как горячая кровь
Закипает во мне.
Пусть орудия бьют,
Пусть горнисты трубят,
В небо рвется салют
В честь меня, в честь тебя!
Не во славу побед,
Что с оружием берут,—
В честь дорог до планет,
В честь тебя, мирный труд!

* * *

Военные годы... Военные годы...
Пайки, похоронки и вдовьи невзгоды.
Вся жизнь—как на бочке, набитой
взрывчаткой.
И все-таки жили, влюблялись девчата.
Несладко прослыть незамужней солдаткой,
И все же девчата любили украдкой,
Рожали солдатских детей беспризорных
И знали, что это не будет зазорно,
Что после, когда не вернутся солдаты,
Мальчишки в пыли будут ползать у хаты
И в день, как уж некому вроде бы в поле,
Мальчишка пойдет с семенами в подоле,
Пойдет по земле, по полям заозерным
И бросит надежды последние зерна
И зерна взойдут, бурно вымахнут в колос...
Спасибо, солдатки, за вашу рисковость!

Владимир Мамаев

ТИШИНА

Еще вчера была война,
Еще вчера гремело, охало,
А нынче зябкая волна
О чем-то тихо шепчет около,
Как лист опавший, шелестит
И мирно лижет серый берег...
У моря человек сидит,
И человек еще не верит,
Что все прошло, что нет войны,
Что он живой, что он вернется.
От непривычной тишины
Он тихо плачет и смеется.
А море ласково шумит,
И волны плещутся о берег...
У моря человек сидит
И в тишину еще не верит.

МАТЕРИ

Руки матери—старые ветви.
Труд и скорбь иссушили их.
На ладонях глубокие меты,
Будто шрамы от ран боевых.
На ладонях...
А в сердце их сколько?
Трех сынов порешила война.
Носит мать эту боль,
как осколки,
Носит в сердце печаль она.

* * *

Сергей Петров
1922 — 1941 гг.

Надпись на обелиске
солдатской могилы

Созрела рожь
На бывшем поле боя.
Спокойно спит солдат,
Землей храним.
А жизнь бурлит,
Шумит листвою
Березка белоствольная над ним.
Шумит, роняет
Слитки листьев,
Как ордена,
На холм седой,
И тишина, как сгусток мысли,
Висит над утренней землей.

РОДИНЕ, РОССИИ

Не на китах, а на Иванах
Стояла и стоит она!
Как мать, к могиле безымянной
Щекой прильнула тишина.
А чуть поодаль—две березы,
Как вдовы скорбные стоят,
И не роса—земные слезы
На листьях, на ветвях дрожат.
О, сколько их, немых курганов,
Понаворочала война!
А в тех курганах спят Иваны.
И матерям их—не до сна.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Виктор Иванович Полосухин родился в 1904 г. на приiske Весеннем Кузнецкого уезда. Детство и юность его прошли в Кузнецке, на Форштадте.

В 1925 г. он окончил Томскую пехотную школу красных командиров и начал службу в 15-й Витебской стрелковой дивизии в должности командира взвода. От природы наделенный даром военачальника, Полосухин за 16 лет прошел все командирские ступени и в марте 1941 г. командовал уже прославленной в боях на озере Хасан 32-й Краснознаменной дивизией. Ему досрочно и через ступень было присвоено звание полковника.

За те шесть месяцев, что оставались до отправки дивизии на фронт, Полосухин сумел превратить три стрелковых и два артиллерийских полка дивизии в слаженный боевой организм. Он непрерывно и настойчиво учил батальоны и артдивизионы в полевой обстановке, приближенной к боевым условиям максимально. Последнее такое учение, показательное для генералитета 25-й армии Приморского фронта, он провел с 18 по 20 июня 1941 г. Приказ по армии с объявлением ему благодарности за отлично проведенное учение подписан 21 июня. В субботу 22 июня фашистская Германия начала войну против Советского Союза.

В сентябре 1941 г. 32-я дивизия была переброшена на запад. Ей досталась лихая доля. Она преградила путь 40-му танковому корпусу немцев на Бородинском поле, поле русской славы. Там, где некогда располагались Шевардинский редут, Семеновские флеши, Курганная батарея Раевского Полосухину было приказано продержаться двое-трое суток, пока подойдут другие наши части. На 32-ю стрелковую дивизию наступали три танковые немецкие: СС «Дас Райх», 5-я и 10-я. Когда после трех суток боев пехотный полк танковой дивизии СС «Дас Райх» был полностью уничтожен, немцы взяли из резерва еще одну, пехотную, дивизию, 7-ю Мюнхенскую, и бросили ее в наступление.

По всем канонам военного искусства одна стрелковая дивизия, даже полного состава, не может удерживать фронт против трех наступающих танковых дивизий противника. 32-я дивизия Полосухина держала, и не двое, даже не трое—она выстояла под огнем и бомбежками, она сражалась и отбивала таранные танковые удары пять суток, с 14 по 18 октября. Только тогда, когда у нее в тылу, сразу за Можайском, развернулась свежая дивизия, 50-я Сибирская, она отошла с Бородинского поля. И не сама отошла, а по приказу командарма генерала Л. А. Говорова.

В боях на Бородинском поле 32-я дивизия потеряла более половины солдат и офицеров, две трети артиллерии.

Здесь, под Гжатском, у деревни Иванники В. И. Полосухин погиб во время боевой рекогносцировки, не дожив 10 дней до 38 лет.

Публикуя главы из повести «Испытание боем», редколлегия присоединяет свой голос к ходатайству ветеранов о присвоении Виктору Ивановичу Полосухину высокого звания Героя России — посмертно.



Общая схема Бородинского сражения.

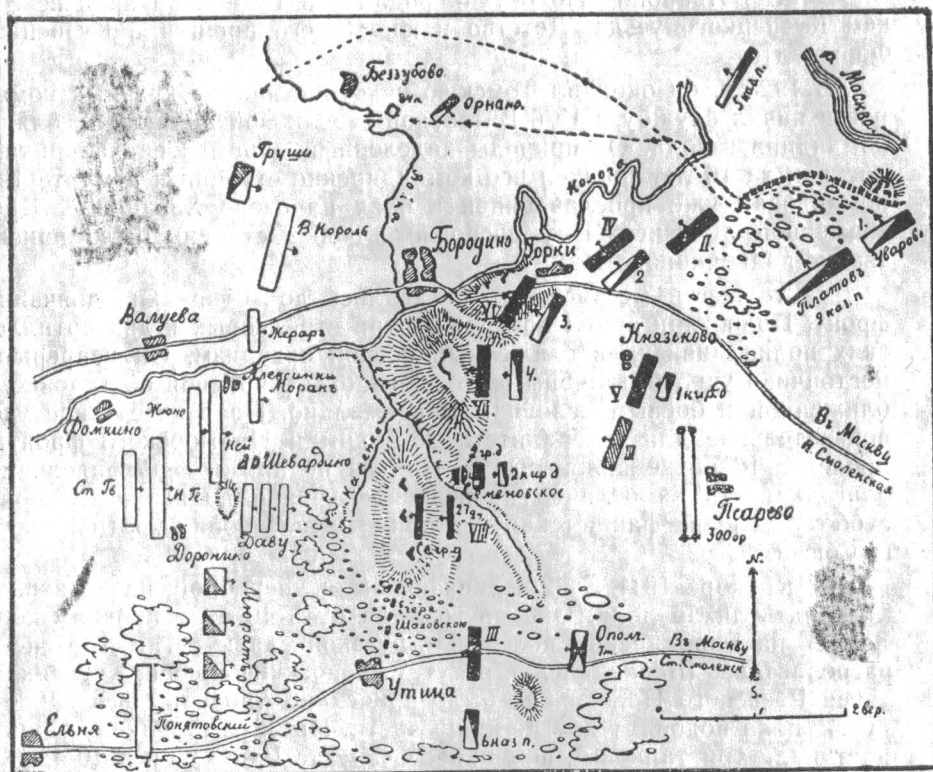


Схема Бородинского сражения 26 августа 1812 г. (по старому стилю) взята из юбилейного издания 1912 г. Павла Ниве.

В октябре 1941 г. позиции М. И. Кутузова и П. И. Багратиона на Бородинском поле защищала 32-я Краснознаменная дивизия В. И. Полосухина:

17-й Краснознаменный стрелковый полк в первые двое суток боев располагался —

1-й батальон — у Рогачево и на бывшем Шевардинском редуте;

2-й батальон — у деревни Ельня (Верхней и Нижней);

3-й батальон — у деревни Артемки (восточнее Утицы);

113-й стрелковый полк занимал позиции у деревни Беззубово, перекрывая дорогу на обход Бородино;

32-й полк после прибытия, 16-17 октября, вел бои в районе деревень Утицы—Ельни.

КП дивизии располагался на холме у д. Горки, где в 1812 г. был командный пункт М. И. Кутузова.

гру
Бес
Он
ли
нос
ред
бол
«Н
сле
вы.
бое
фр
пр
кра
вет
П
ком
год
го
да
пер
теп
ли
ши
рая
лас
оф
пос
Вяз
вой
его
поя
пех
вал
они
ли,
ста
Их
бы

БОРОДИНО — ИСПЫТАНИЕ БОЕМ

Отрывок из документальной повести

...Из Берлина в штаб 4-й танковой группы пришла газета «Фёлькишер Беобахтер» за 9 октября 1941 года. Она вся была пронизана победным ликованием, оптимизмом, уверенностью в скорой и полной победе. Передовая называлась «Военный конец большевизма». Сказано в ней было: «На этот раз принесены в жертву последние боеспособные советские резервы. Против победоносного и полностью боеспособного немецкого Восточного фронта стоят лишь совершенно непригодные для серьезных действий красные соединения... Приговор Советскому Союзу уже вынесен».

Генерал-полковник Эрих Гепнер, командующий танковой группой, сегодняшним боевым донесением из 40-го корпуса не был ни потрясен, ни даже обескуражен: он понимал, что первый день сражения на очередной — теперь Можайской — оборонительной линии не обязательно должен завершиться ее прорывом. Однако некоторая настороженность все же проявилась; еще два дня назад и сам он, и офицеры его штаба полагали, что после окружения советских войск под Вязмой и Калугой перед 4-й танковой группой — пустота. Однако перед его дивизиями вопреки ожиданиям появились танковые бригады; они и пехотные части русских перегораживали все шоссе к Москве; они держались, даже контратаковали, потом отходили, чтобы снова стать на очередной отсечной позиции. Их было мало и они были слабы, чтобы совсем остановить его корпуса,

они лишь сдерживали продвижение, и Гепнер не мог понять, во имя чего русские жертвуют собой?

После сегодняшнего боя на Можайской линии он, кажется, начал понимать тактику русских: 19-я танковая бригада и русская пехота, которые сдерживали продвижение передовых частей 40-го корпуса на Можайск, после взятия Уваровки танковой дивизией СС «Дас Райх» просто ушли. Ушли, выполнив свою задачу: они дали развернуться новой дивизии русских. И сегодняшний бой показал, что боеспособные дивизии у Красной Армии еще есть, еще существуют. И если завтра эту дивизию не удастся ни окружить, ни разбить, если она продержится еще день, или два, или три — сколько новых дивизий подтянут русские из своего необъятного тыла?

Генерал Штумме доложил, что путь на Москву перед Можайском перегородила 32-я дивизия с Дальнего Востока, что, по словам пленных, дивизия считается боевой и что именно она разгромила японцев на озере Хасан. Из этого генерал Штумме сделал вывод: хватит тешить себя мыслью, будто с русскими уже покончено. Завтра он будет наступать так, как положено наступать танковому корпусу на позиции серьезного противника.

Сегодня русские нигде не дали ни его танкам, ни пехоте даже приблизиться к своим траншеям. Их артиллерия была в высшей степени эффективной. Задача на завтра: подавить артиллерию; вклиниться в русские позиции, прорвать их, зайти русским в

тыл и покончить с дивизией. Даже если она с Дальнего Востока.

Гепнер с таким ходом мыслей генерала Штумме согласился. Подумал— что-то напишет завтра доктор Геббельс

в газете «Фёлькишер Beobachter»? Будет ли учтено все то, с чем столкнулись немецкие войска на самом деле, или политические оценки от действий армии не зависят?

БОРОДИНО. ВТОРЫЕ СУТКИ

(с 14 по 15 октября 1941 г.)

На фронте 1200 км—вперед!

На обширном фронте маршируют и катятся на восток наступающие немецкие части. Нет слов для описания размеров советского поражения!

«Фёлькишер Beobachter». Военная газета национал-социалистического движения Великой Германии. Берлинский выпуск, понедельник, 13 октября 1941 г.

Противник перед фронтом группы армий разбит. Остатки отступают, переходя местами в контратаки. Группа армий преследует противника. 4-й танковой группе и 4-й армии без промедления нанести удар в направлении Москвы, разбить находящиеся перед Москвой силы противника, прочно овладеть местностью, окружающей Москву, и плотно окружить город.

Подписал: Ф. фон Бок, генерал-фельдмаршал и командующий группой армий «Центр», 14 октября 1941 г.

I

Сумрачный, подернутый туманом день 14 октября еще только занимался, а над всей 32-й дивизией повисли группы «юнкерсов»: бомбили по широкой площади, от Рогачева и Шевардина до станции Бородино. Под ударами полутонных бомб рушились, оседали доты, осыпались траншеи, бревенчатые накатывали дыбом. Гаубичные батареи у деревень Утица, Артемки и Юдинка хотя были укрыты, но немецкие бомбы доставали их.

На этот раз не было перерыва между бомбовым ударом—он длился час, с половины пятого до половины шестого утра—и танковой атакой: в шесть немецкие танки уже утюжили траншеи 3-й роты 1-го батальона

17-го полка, в траншеи ворвалась вражеская пехота.

Рота яростно отбивалась штыками и гранатами, однако к немцам все время прибывали подкрепления. Не дожидаясь, когда стихнет бой в траншеях 3-й роты, немцы от Рогачева двинули 30 танков и батальон пехоты вдоль железной дороги, к станции Бородино. Слева от Валуева они попали под фланговый огонь 230-го запасного стрелкового полка.

Параллельно насыпи, по шоссе Минск—Москва, пошла еще одна танковая колонна, за ней следовала мотопехота в грузовиках и бронетранспортерах.

Одновременно 35 танков разверну-

тym фронтом атаковали передний край у Семеновского, Шевардина и Ельни—здесь были позиции 2-го батальона 17-го полка капитана Н. Щербакова*. За танками в пешем строю торопились автоматчики, их было неправдоподобно много...

Полосухин действительно видел все участки своей обороны—все сразу. Ни растерянности, ни страха он не испытывал, лишь огромное напряжение. Надо было управлять боем на всех участках одновременно, однако перед тем как отдавать приказы, он еще немного выждал: хотел увериться, что приказы будут точно соответствовать развитию событий.

Противотанковые артдивизионы, поставленные у Шевардина, выкатили орудия на открытые позиции и теперь били прямой наводкой по танкам и пехоте, которые двигались к Шевардину и Семеновскому. Танковая цепь разорвалась, несколько машин задымилось, две вспыхнули...

Полосухин приказал вызвать 17-й полк майора Романова. Адьютант Федор Иванов бился пять минут, десять—все напрасно: связи с 17-м полком не было. Полосухин приказал: «Бери мотоцикл, доскочи до Утицы, передай мой приказ командиру 3-го батальона: пусть двинет своих на Рогачево, надо выручать 3-ю роту!»

Иванов умчался. Минуту спустя Полосухина вызвал командарм генерал Лелюшенко:

— Держись, сейчас дам залпы эрэсами*, дивизионы уже на исходных...

Такого рева, такого завывания Полосухин прежде не слышал. Огненные стрелы прочертили низкое, набухшее

темными облаками небо. На танки перед Шевардином и Семеновским обрушился огненный смерч, пехота за ними заметалась...

От Утицы до Рогачева стрелковая рота и разведзвод бежали—бойцов подгонять не требовалось. Иванов сказал командиру батальона: «Я людей сам поведу, ты держи свои позиции здесь, немцы и до тебя доберутся».

Как бежали, так и ударили: кто кричал «Ура!», кто «За Родину!», кто вопил нечто несусветное. Бойцы частью попрыгали, свалились в траншеи 3-й роты, где бой еще шел, частью бросились на подходившие немецкие подкрепления. Осилить немцев никакой возможности не было, их было слишком много—контратака тут же захлебнулась.

То, что осталось от 3-й роты, скопилось во второй линии траншей, здесь же засели и те, кого привел старший лейтенант Иванов. До немцев было рукой подать, но они из первой занятой ими линии почему-то не вылезали, так и сидели там...

II

Мертвая тишина повисла над Бородинским полем.

Федор Иванов успел вернуться на НП дивизии, доложил Полосухину: «Немцев у Рогачева остановили, надолго ли, не знаю. Они все время подтягивают резервы, пехоту и танки».

Полосухин поглядывал на часы—тишина-то какая... Сейчас опять бросят на нас «юнkersы».

Однако на этот раз налетели не простые бомбардировщики, а пикирующие, Ю-87. Надрывно ревя моторами, они падали вниз к земле почти отвесно, точно на цель, выискивали врытые в землю танки, артбатареи и разносили их вдребезги, и спасения от них не было. Раз за разом заходили чер-

* Не следует путать капитана Н. Щербакова, командира 2-го батальона 17-го полка, с капитаном В. А. Щербаковым, командиром 2-го батальона 332-го полка.

*Эрэсы (РС)—реактивные снаряды, позже прозванные «катюшами».

ные ревушие машины для ударов, запас бомб у них не кончался*.

Полосухин все высматривал — где теперь пойдут немецкие танки?

Они двинулись лавиной между шоссе Минск — Москва и железной дорогой. На передний край, на бывший Шевардинский редут, на 2-й батальон катилось до полусотни танков и самоходных орудий, пехота в бронетранспортерах двигалась по шоссе, цепи автоматчиков мелькали за танками... И снова повторился вчерашний вариант: наши врытые в землю танки — те, что уцелели после жестокой бомбежки, — ударили разом, им вторили противотанковые орудия из дотов, с дальних позиций заговорили гаубицы.

Командующему артиллерией майору Битюцкому теперь пристрелка была не нужна, батареи били по засеченным ориентирам сразу на поражение. Зачадили, вспыхнули немецкие танки — три, пять, десять... Несколько машин застряли на надолбах: сломать, смять, выкорчевать из земли глубоко врытые торчком деревянные бревна оказалось не под силу и по ним стали бить бронебойщики. Еще три танка попытались преодолеть противотанковый ров, но не могли выбраться: откос был слишком крут.

И снова по атакующим немцам ударили эрэсы — за сорок минут паузы, до налета пикировщиков, «катюши» успели сменить позиции: ни за кем немцы так не охотились, как за «катюшами», потому сразу после залпа они уходят, и подальше, чтобы следующий залп дать с нового места... Над немцами забушевал огонь — их и на этот раз отбросили и два часа они молчали.

В 14.30 «юнкерсы» навалились на Фомкино, Бородино, на Можайск и Юдинки. Потом произошло то, чего Полосухин опасался с самого начала

и чего предотвратить при всем желании не мог: 2-й батальон капитана Н. Щербакова, как его ни растягивай, создать сплошной линии обороны не мог. Стык его правого фланга с левым флангом 1-го батальона просто простреливался с двух сторон, и немецкая пехота нащупала этот участок. Она стала просачиваться мелкими группами от Рогачева и продвигаться к Шевардину, оттуда еще дальше на восток, к деревне Семеновской, и на юг, к деревням Ельне Верхней и Ельне Нижней, выходя в тыл 17-му полку.

Капитан Н. Щербаков не сразу понял, что его окружают. Однако, поняв, вызвал командира полка майора Романова: «У меня в тылу немцы!»

У немцев была между собой радиосвязь, иначе бы у них одновременной атаки не получилось — и с фронта, и с тыла. Но и такая атака капитана Н. Щербакова не смутила. До линии траншей немцам было не добраться, артиллерией их дважды отбрасывали. Оставив в траншеях и дотах часть сил, он приказал расстреливать атакующих с фронта и поднял две роты в штыковую атаку против тех, кто наступал с тыла. Здесь, в нашем тылу, немецких танков было мало, всего пять, и бойцы забросали их бутылками с горючей смесью. Автоматчиков, какие подвернулись под руку у деревни Семеновской, перекололи.

Капитан Н. Щербаков в конце боя был ранен, однако сознания не потерял и из боя не вышел: понимал, что, разведав дорожку, немцы теперь ринутся по ней и бросить свой батальон он не мог.

Задыхаясь от волнения, еще не ощущая боли в правом плече, где засела автоматная пуля, он первым делом доложил командиру полка: «Опасность очень велика: сейчас противник двинет от Рогачева к нам в тыл танки и пехоту, мы займем круговую обо-

* Бомбовая нагрузка Ю-87 1800 кг.

рону и будем держаться. Однако разбить немцев у нас сил нет».

К этому времени связисты снова пробросили линию на НП дивизии. Майор Романов доложил Полосухину: при полном отсутствии резервов 17-й полк не может вести бой одновременно и по своему переднему краю, и в собственном тылу.

Полосухин приказал Иванову вызвать генерала Лелюшенко. В дивизии тоже не было резервов. Полосухин не мог своими силами ни закрыть брешь у Рогачева, ни преградить немцам путь к Ельне. Лелюшенко выслушал, сказал: «Что в тебе, Виктор Иванович, хорошо, так это умение понимать, что происходит на поле боя. Через тридцать минут вышлю в твоё распоряжение 36-й мотоциклетный полк майора Танасчишина. Задачу ему поставишь, исходя из конкретной обстановки».

Танасчишин явился на НП дивизии в кожаной короткой куртке, в танкистском ребристом шлеме, очки-консервы лихо сдвинуты на лоб. Из-под широкого ворота тужурки виднелись черные танкистские петлицы, по положенным по званию майорских шпал не было. Лихо бросил руку к виску: «Товарищ полковник! Тридцать шестой мотоциклетный полк...»

Полосухин жестом остановил:

— Давайте, майор, сразу к делу. Смотрите по карте: мой НП вот здесь, вот Ельня Нижняя и Верхняя. По прямой всего ничего, 6 километров, но полк ваш здесь не пройдет: поле пересекает знаменитый Семеновский овраг*. Ваш путь сейчас на юг, до Минского шоссе, по нему на запад, через Утицу — деревня в наших руках — до Ельни. Ельню лучше обойти с севера и ударить.

* В 1812 г. у Семеновского оврага войска Багратиона отбивали атаки шести дивизий Даву и Вея и кавалерии Мюрата.

— Почему обойти? Думаете, немцы нас ждут?

— Может, и не ждут, но уж охранение на шоссе точно выставили.

Майор понимающе покивал, снова бросил руку к виску — разрешите выполнять?

Полосухин улыбнулся — майор Танасчишин ему понравился.

— А что, майор, у тебя в полку все бойцы так богато одеты?

— Нет, я один. Это моя прежняя форма, я на мотоцикл из танка пересел. У бойцов шинели, сапоги, шапки, для водителей раздобыл очки, чтобы глаза не слезились. Остальные на скорости глаза ладошками прикрывают.

— У тебя что, винтовки?

— Нет, на каждом мотоцикле ручной пулемет, у всех бойцов ППШ.

— Богато живешь!

— Не жалуюсь!

— Желаю удачи!

III

Полк майора Танасчишина проскочил по шоссе через Утицкий лес и ворвался в Ельню с севера и с юга. Немецкая пехота к тому времени начала накапливаться для удара по Утице. Ни окопов, ни ячеек солдаты отрывать и не думали, им предстоял скорый марш на 10 км, и они никакой опасности для себя не предвидели: окруженный западнее Ельни русский батальон еще сопротивлялся, еще отбивался, но судьба его казалась уже решенной.

Ворвавшиеся в Ельню мотоциклисты Танасчишина оказались для немецкой пехоты полной и ужасной неожиданностью: пулеметный и автоматный огонь, разрывы гранат, треск носившихся по шоссе, по полю, по широким деревенским улицам мотоциклов — все смешалось и пронеслось в несколько минут. Те из немцев, кто уцелел, поспешно отступили из Ельни, отошли

знакомым путем на Рогачево. Мотоциклисты Танасчишина гнали за отходившими огрызавшимися автоматчиками, так что мало кто и ушел...

В эти же самые минуты кипел бой и вокруг НП 17-го полка — в километре от Нижней Ельни. От наседавшей на НП немецкой пехоты отбивались сам майор Романов, штабные командиры, бойцы комендантского взвода. Их было слишком мало, чтобы продержаться долго, у них не было ничего, кроме пистолетов и винтовок, и мысль у майора Романова была одна: как спасти полковое знамя?

Однако в этот раз до худшего не дошло: с командного пункта полка пришла подмога — начальник связи капитан Гольдберг собрал хозвзвод, своих связистов, всех вообще, способных держать винтовку, перемахнул с ними через шоссе и ударил немцам в тыл. Бойцы сразу кинулись врукопашную, тут было не до крика, не до рева — главное было сойтись с немцем поближе, чтобы достать штыком, прикладом, сбить на раскисшую, потоптанную землю, иначе полоснет он тебя из автомата...

Полчаса спустя все было кончено. Уцелевшие немцы побежали к Ельне — здесь они увидели ужасающий разгром: на еще не окоченевшие трупы немецких солдат падал легкий снежок и было непонятно, кто их расстрелял... На одной из улиц умершей деревни наткнулись на русский сгоревший мотоцикл, все три мотоциклиста были мертвы... Видимо, в него угодила ручная граната и укрепленная между передним колесом и коляской канистра с бензином рванула... И еще два русских мотоцикла попались им — искореженные, обгоревшие.

Немецкие солдаты шли быстро, ушли прочь, у них больше не было ни чувства превосходства над русскими, ни ощущения своего могущества. Они просто спасались...

Был только полдень, и бой на сегодня не кончился.

Командующий 4-й танковой группой генерал-полковник Гепнер, понимая, что обе наступавшие вчера и сегодня дивизии 40-го корпуса, танковая «Дас Райх» и моторизованная 10-я, нуждаются в передышке хотя бы до следующего утра, послал вперед 7-ю Мюнхенскую пехотную из 7-го корпуса генерала Фармбахера, которая эти два дня в деле еще не была.

Гепнер приказал сделать глубокий обход левого фланга, через село Коржань и Юдинки выйти на шоссе далеко в тылу русской линии обороны — прямо к селу Артемки. Обход предстоял по лесу — следовательно, пехота будет действовать без поддержки танков Т-4, с ней пойдут только легкие Т-3.

Гепнер в успехе не сомневался, да и какие могли быть поводы для сомнений?

Командир 7-й Мюнхенской дивизии приказ выполнил: один из его полков появился перед русскими позициями у деревни Артемки, еще один полк продвинулся вслед за ним через густой лес...

О том, что немцы вышли на шоссе у Артемок и атакуют 3-й батальон 17-го полка, Полосухин узнал сразу. И опять был вынужден докладывать генералу Лелюшенко: опасность теперь была неимоверно велика. Здесь, у Артемок, стояли батареи гаубичного полка, потерять орудия было нельзя ни в коем случае: это означало бы общую сдачу позиций на Бородинском поле. 3-й батальон отразить атаку полка немецкой пехоты своими силами не мог, в батальоне оставалось всего две роты, третья так и оставалась в траншеях у Рогачева. Никаких резервов у Полосухина не было: 322-й стрелковый полк и разведывательный батальон все еще не появились, все еще были где-то на колесах или стоя-

ли, пережидая очередную бомбежку. Потому и пришлось докладывать генералу Лелюшенко: пехотный полк немцев атакует Артемки!

Лелюшенко сразу, с первой встречи, понял: у Полосухина очень высоко развито чувство ответственности и самоуважения, он никогда не скажет прямо — я не могу решить задачу, вручайте, товарищ командующий! Он просто докладывает обстановку, а ты, генерал, делай выводы!

Лелюшенко спросил: «Час твой батальон продержится? Раньше мои танки не придут».

Полосухин ответил: «Батальон будет драться, пока там останется хоть кто-то в живых. Сколько это будет длиться, сказать не могу».

В этот день, 14 октября, судьба еще не приговорила к гибели 3-й батальон и самого капитана Зленко. Атакующих немцев встретили плотным огнем, заговорили тяжелые гаубицы от Утицы и от леса, что темной стеной стоял за Артемками, — они били частыми залпами, через голову 3-го батальона, и первая немецкая атака захлебнулась сразу, как началась: немцы откатывались.

Через полчаса из леса появились густые цепи и среди них 12 легких танков, которые немцы протаскили через лесные дебри.

Снова заговорили гаубицы, продвижение немецких танков замедлилось, но остановить их стрельбой с закрытых позиций гаубицы не могли, а противотанковых дивизионов здесь, у Артемки, не было. Черные машины широкой цепью накатывались на деревню, на траншеи и дзоты, пехота шла на сближение для решительного удара...

Из-за крайних домов появился вдруг наш танк, другой, третий; левее, по почерневшему за день полю, выскочил еще десяток наших танков, и еще де-

сятков — они ринулись на немцев, ударили во фланг; это пришла 20-я танковая бригада полковника Т. С. Орленко, последний резерв и последняя надежда генерала Лелюшенко.

Теперь, когда по полю понеслись наши танки, давя и расстреливая врага, отсиживаться в траншеях было невыносимо, постыдно и майор Зленко поднял две свои роты в штыковую атаку. Рукопашная сразу превратилась в свалку. Баварцы*, парни рослые, ни отступать, ни сдаваться не желали. Однако два батальона русских танков и моторизованный батальон с фланга да две сотни русских солдат с фронта — натиск был слишком силен, немцы это сразу осознали. Когда же от двенадцати легких немецких танков не осталось ни одного, баварцы, огрызаясь, отбиваясь контратаками, стали оттягиваться к лесу, из которого вышли к Артемкам...

IV

Артемки остались в наших руках, о чем Полосухин тут же доложил генералу Лелюшенко. Уже заметно вечерело, Лелюшенко понимал, что ни сегодня немцы уgomонились и едва ли на что-либо способны, потому приказал: «20-ю танковую бригаду верни».

Полосухин тоже понимал, что у Лелюшенко спасение — маневрировать этой бригадой да дивизионами эрэсов, потому ответил: «Бригада, как вышла из боя, двинулась на Можайск. Где мой 322-й полк?»

Полк был все еще в пути. Можно сказать — на подходе. Завтра на рассвете разгрузится 12-й разведывательный батальон майора Корепанова, следом подойдут эшелоны 322-го полка. Их разгрузку прикроет авиация и зенитная артиллерия.

* 7-я дивизия формировалась в Мюнхене, земля Бавария.

Полосухин ясно осознавал, что еще двух дней таких боев дивизия не выдержит, осторожно спросил, ожидает ли товарищ командующий в ближайшие сутки-двое прибытия хоть еще одной свежей дивизии? Лелюшенко не вспыхнул, не осерчал: «Да, брат, понимаю, тяжело тебе, но нам пока цовые дивизии не светят. Может, через неделю...»

Ночью в штаб армии привезли пакет из Ставки — начальник генштаба маршал Шапошников прислал официальный приказ: 5-я армия с нуля часов 13 октября включалась в состав Западного фронта и поступала в подчинение генерала Г. К. Жукова. Лелюшенко на приказе расписался — он весь этот бесконечно тяжелый, нескончаемый день держал в глубине сознания мысль: командующий фронтом за сутки не нашел времени (или не посчитал нужным?) позвонить, выслушать, объяснить, передадут ли в армию в ближайшие день-два еще хотя бы одну дивизию?

Зашел дежурный: «Товарищ генерал, командующий фронтом требует вас к аппарату ВЧ!»

Лелюшенко удивился — ну совпадение! Тут тебе и пакет, тут тебе и звонок!

Жуков говорил голосом резким, у него тон вообще был непререкаемый:

— Слушайте внимательно! На правом фланге вашей армии немцы подошли к Рузе, слева другой немецкий корпус рвется от Вереи к Наро-Фоминску. Следите по карте? 5-я армия уже в полукольце, но вы на Бородинском поле для 4-й танковой группы Гейнера словно кость в горле. Армия еще держит Бородинское поле?

— Держит. Сегодня контрударом 20-й танковой бригады вышибли противника из деревни Артемки. Шоссе Москва — Минск пока под нашим контролем.

— Я вашего «пока» не слышал! Приказ для 5-й армии такой: продолжать упорную оборону на Можайском рубеже. Ни шагу назад!

V

Сразу, как немцы уgomонились, в Кукариинском лесу на командном пункте дивизии объявился военный корреспондент газеты «Известия» Евгений Кригер. В дивизию он прибыл еще днем, в самый разгар боя мотоциклистов майора Танасчишина за Ельню. Однако проявил понимание обстановки: людей в штабе дивизии не дергал, с вопросами ни к кому не лез и вообще на глаза комдиву не показывался. Но когда понял, что на сегодня война кончилась, сказал комиссару дивизии Г. М. Мартынову: «Георгий Макеевич, я сейчас поеду в 17-й полк, но прежде хотелось бы увидеть вашего комдива. Он, говорят, возвратился с НП, и, если не станет возражать, я бы хотел сфотографировать его. В газету фотоснимок, разумеется, не пойдет, но для архива «Известий» такой снимок просто нужен».

Виктор Иванович на приглашение военкома — выйти на поляну и сфотографироваться — ответил без жеманства: «Для истории, что ли? Ну, пойдем! И майора Романова зови, его полк сегодня дрался героически, пусть и он останется для истории».

Вот он, этот снимок.

Впереди, на пенке, с трубкой в углу рта — Полосухин Виктор Иванович. Майор Романов в роскошном белом полушубке, с биноклем на груди — справа от Полосухина и тут же рядом — порученец Романова. Слева от Виктора Ивановича встал Федор Иванов — он одного комдива никуда не отпускал. А прямо за спиной Полосухина — сам Евгений Кригер. На затвор корреспондентской «лейки» на-

жал
ветст
Пр
тор
тес
Ром
его
Что
ню».
Евг
и в ро
—



жал военком Мартынов, и его, соответственно, на этом снимке нет...

Прощаясь с корреспондентом, Виктор Иванович сказал: «Вы собираетесь в 17-й полк. Вот комполка майор Романов. Главный бой сегодня вел его полк. Что можно, он расскажет. Что будет непонятно, я после объясню».

Евгений Кригер откликнулся в тон и вроде бы без всякой обиды:

— А я напишу все, о чем будет

можно — по соображениям сохранения военной тайны.

Статья в газете появилась через три дня, 17 октября, когда обстановка на Бородинском поле была совсем иная. Но страна, читая газету, об этом не знала. Журналист пытался писать эзоповым языком, чтобы и правду сказать и военных тайн не выдать. Бородинское поле упоминать было нельзя, и Кригер сообщил, что побывал где-то на «Вяземском направле-

нии»; Рогачево и Ельню зашифровал буквами «Р» и «Е»: 32-ю дивизию называть опять же было нельзя, и он выкрутился так: «Краснознаменная часть, которой командует полковник Полосухин, держит широкий фронт. Против нее действует до двух пехотных полков противника, 4 роты танков, около двух дивизионов артиллерии».

Майор Романов, со слов которого писал Евгений Кригер, ошибался: не два полка пехоты и не четыре роты танков — на его 17-й полк навалились две немецкие дивизии, просто немцы давали своим солдатам передышку, меняли полки, так что в один момент действительно больше четырех рот танков в атаку не шли. Но когда отбивали одних, на смену им приходили другие...

О капитане Н. Щербакове журналист написал прямо, открытым текстом: «На исходе трудного боя, длившегося двое суток с нарастающей силой, командир батальона капитан Щербаков был тяжело ранен в руку. Его перевязали и направили в госпиталь. Он сказал: «Я не оставляю батальон в такую минуту!» И продолжал руководить боем».

Описал Е. Кригер и бой за НП полка: как капитан Гольдберг и другие командиры пришли на выручку. Заканчивал статью фразой, вселяющей оптимизм: «Идет бой жестокий, беспощадный — бой на подступах к Москве. Значение этой схватки не нужно объяснять бойцам. Наши подразделения переходили кое-где в контратаки». То ли о мотоциклистах майора Танасчишина сказал, то ли о танковой бригаде полковника Орленко — пойди разберись! Военная тайна — она и есть военная тайна...*

* Кригер Е. Ненависть к врагу беспредельна // Известия. 1941. 17 октября.

VI

Генерал-полковник Эрих Гепнер после поездки в дивизию СС «Дас Райх» подводил итоги — они были неутешительными: 40-й корпус генерала Штумме нанес по русским удар, который должен был их сокрушить. Но удар был отбит. Корпус за два дня боев потерял 70 танков. Убыль в людях тоже превышала допустимую норму. Дивизию СС «Дас Райх», которая шла в первой волне атаки, русские буквально расстреляли. От пехотного полка дивизии осталась жалкая горстка, и измученных, потрясенных боем солдат пришлось распределить по танковым полкам «Дер Фюрер» и «Дас Дейчланд». Восполнить потери, восстановить полк сейчас просто нечем. В дополнение ко всем бедам дивизия СС «Дас Райх» лишилась своего командира: близким разрывом снаряда тяжело ранен генерал Хауссер и его пришлось срочно эвакуировать.

Много позже, уже после войны, один из офицеров дивизии «Дас Райх» вспоминал о боях на Бородинском поле: «Здесь оборонялась 32-я советская дивизия. Они были стойкими. У них не было паники. Они стояли и дрались. Они наносили удары и принимали их. Это была ужасная битва... Мертвые. Тяжелораненые. Сожженные. Разбитые. Ярость делала глаза кроваво-красными»*.

Гепнер побывал в полевом лазарете — просторная, утепленная палатка была вся целиком забита. Так много раненых, собранных вместе, Гепнер за два года войны еще не видел. Они не хотели говорить, или молчали, или уклонялись от разговора, а Гепнер не имел оснований гневаться на солдат: эти люди исполнили свой долг. Они

* Прозктор Д. Агрессия и катастрофа. М.: Наука, 1972. С. 342.

сражались честно, и нет их вины в том, что русские устояли, а приказ генерал-фельдмаршала фон Бока все еще не выполнен.

Но он, Эрих Гепнер, должен потре-

бовать от своих войск выполнить приказ о прорыве к Москве, и завтра он потребует. Господа командиры дивизий пусть не рассчитывают на его, Гепнера, жалость и послабление.

БОРОДИНО. ТРЕТЬИ СУТКИ

(с 15 по 16 октября 1941 г.)

Беспрецедентная победа германского вермахта и его союзников открыла путь для политического и хозяйственного переустройства восточноевропейского пространства.

Вальтер Функ, рейхсминистр хозяйства, газета «Фёлькишер Beobachter», 13 октября 1941 г.

I

Раннее утро 15 октября начиналось на Бородинском поле мощной канонадой: тяжелые германские орудия еще до того, как занялся рассвет, обрушились на позиции 17-го полка, на деревни Бородино, Ельню, Артемки. Отвечать, вести контрбатарейную стрельбу Полосухин не мог: орудий такого калибра, как у немцев, с такой дальностью стрельбы в дивизии не было. Сюда бы гаубицы калибром 203 мм, но полки с такими орудиями считались резервом главного командования, их и в 5-й армии не было...

Ровно час немецкая артиллерия безнаказанно расстреливала доты, громила наши огневые позиции, уничтожая орудия вместе с расчетами, разрушая траншеи. Затем артогонь сменился не менее разрушительной бомбежкой — пикировщики с ревом и завыванием повторили вчерашнюю карусель: подходили к Бородинскому полю цепочкой и поочередно, сваливаясь на крыло, падали к земле, укладывая бомбы точно на выбранную цель...

Еще стоял в ушах у бойцов грохот от бомбовых разрывов, а уже ползли по полю, между шоссе и железной до-

рогой, 50 черных танков. В дивизии СС «Дас Райх» своей пехоты больше не было — за танками пустили два полка все той же 7-й Мюнхенской пехотной дивизии.

Ночью снова шел снег, он закрыл вчерашние воронки, припорошил сгоревшие танки — поле перед позициями 17-го полка с утра было совсем белым и отчетливо виделись на нем ползущие машины и спешащие за ними автоматчики...

Полосухин со своего НП все еще мог руководить боем — связь работала, и он вызвал майора Битюцкого: «Алексей Степанович, все ли ясно видишь? Не упusti момента!» Битюцкий заверил — у него еще много стволов, эти танки он остановит, но что будет к концу дня?

Верный себе, Битюцкий снова подпустил немецкие танки на 250 метров, затем обрушил на них всю огневую мощь дивизии — всю ту, что еще оставалась, ибо потери были и у него велики.

Артиллеристы противотанковых дивизионов, понимая, что иначе танки прорвутся и подавят их гусеницами, сразу выкатили свои орудия на пря-

мую наводку, и по всей линии нашей обороны загремели огненные дуэли — кто кого? кто кого раньше поймает в перекрестие прицела? кто раньше выстрелит? кто раньше попадет? Танки двигались, маневрировали — пушки стояли. Везло тем, у кого нервы крепче, глаз острее...

За час боя в противотанковой батарее, защищавшей 3-й батальон 17-го полка, погибли или были ранены все бойцы, остались только два орудия, из них продолжали вести огонь сержант Каринцев и командир батареи старший лейтенант Полибин, корректировал огонь комиссар батареи, младший политрук Сазонов. Полибин подбил 4 танка, Каринцев — 2, затем их орудия накрыли близкие разрывы...

3-й батальон еще держался, но он истекал кровью. Помоги ждать было неоткуда. Командир батальона, капитан Зленко, отходить никуда не собирался. Он созвал к себе в траншею всех, кто уцелел: «Ну, ребята, мы держим Курганную батарею*... Неужели уйдем? Неужели покроем себя позором?»

По наползающим танкам, по совсем близко подступившей пехоте вдруг ударили залпы эрэсов — один, за ним без интервала другой. Поле полыхнуло ярко-желтым пламенем — попадание было точным, по танкам, по пехоте. Поле разом почернело, оплавилось; одни танки, охваченные огнем, замерли, другие закрутились на месте, автоматчики теперь спешно уходили — те, кто вырвался из огня... Добить бы их сейчас, опрокинуть, погнать... Но Зленко знал, что с той горсткой бойцов, что у него осталась, атаковать нельзя: немцы через час двинутся снова, у них резервов хватает — кто их тогда удержит?

* «Курганная батарея», или батарея Раевского, — центр русских позиций в Бородинском сражении 26 августа 1812 г.

II

Через час немцы пришли в себя полностью и повторили удар — все по тому же 3-му батальону 17-го полка капитана Зленко. Погиб и сам Зленко, и почти весь его батальон: немцы на этот раз ворвались в траншеи, резня была беспощадной, так что из батальона мало кто уцелел.

Фронт дивизии оказался прорван, ширина прорыва километра четыре, немецкие танки и пехота хлынули в брешь на шесть километров. В руках противника оказались, кроме ранее захваченного Рогачева, обе Ельни, Утица и Артемки. Теперь немцы, разрезав боевые порядки дивизии, выходили на позиции гаубичного полка.

Полосухин все видел, все понимал.

Первую и самую очевидную мысль — забрать часть сил из 113-го полка и закрыть прорыв — тут же отбросил: во-первых, оголять правый фланг дивизии было недзя; во-вторых, на переброску батальонов требовалось время, а времени у него как раз не было. Закрывать прорыв, не допустить его расширения надо было другим путем.

Полосухин вызвал к телефону Битюцкого, приказал: «Стяни всю артиллерию к Артемкам, перекрой шоссе и жги танки! Не дай им прорваться на Можайск!»

Второе, что сделал в этой лихорадке Полосухин, перебросил к Артемкам саперные роты, приказал спешно минировать шоссе и окольные дороги на Можайск — три полосы минных полей с интервалами в глубину полтора-два километра. И чтобы через час доложили об исполнении!

В эти минуты Полосухин жил в бешеном ритме.

12-й отдельный разведывательный батальон майора Корепанова уже разгрузился на станции Можайск, уже шагал к Бородинскому полю где-то по шоссе, и Полосухин послал ему на-

встречу старшего лейтенанта Федора Иванова — ускорить движение к Артемкам! Срок прибытия — 17.00, пусть хоть бегом бегут, хоть на крыльях летят!

Вызвал майора Воробьева: «Вам задача — соберите все, что осталось от 3-го батальона Зленко, думаю, рота должна набраться. Берите из батальона курсантов и еще одну роту. К 17 часам быть готовыми к атаке на Артемки с юга. Артемки надо отбить, иначе немцев не удержим. Две роты — очень, очень мало, но вас поддерживает разведывательный батальон, он ударит одновременно с северо-востока».

Позвонил генерал Лелюшенко: «Виктор Иванович, все знаю. Что предприняла дивизия, чтобы остановить противника?» Выслушав ответ, сказал: «Согласен, вы мыслите верно. К 17 часам ждите от меня противотанковый артполк и 20-ю танковую бригаду. Бейте кулаком, сразу всеми силами, иначе ничего не добьетесь».

Лишь положив трубку, Полосухин сообразил: Лелюшенко впервые за эти три дня разговаривал с ним на «вы»...

Тут же позвонил майор Солдатов: «Немцы атакуют танками и пехотой от Рогачева на север, через железную дорогу, левый фланг полка!»

Полосухин хмыкнул: «Несерьезно это, просто они нас связывают, чтобы я из твоего полка никого забрать не мог. Ты, Николай Леонович, просто обязан отбить...»

— А полк и отбивает. Только что вторую атаку отбили.

— Вот и держите их дальше.

III

Комиссар дивизии Мартынов явился на НП, выждал, когда немецкий натиск спадет, сказал Полосухину:

— Виктор Иванович, боюсь, не случилось бы еще беды: 2-й батальон

17-го полка сутки как отрезаю, дерется в окружении: штаб полка с утра молчит, связи нет, посыльные от Романова не доходили. Вообще дивизия держит оборону очагами, локтевого соприкосновения полков фактически нет...

Полосухин слушал молча, держа обеими ладонями горячую алюминиевую кружку. Он не пил, он совсем забыл про кусочек сахара за щекой — от кружки исходило блаженное тепло. Всё, о чем говорил Мартынов, он знал и сам. Спросил:

— Что надумал, Григорий Мокеевич?

— Хочу пойти в штаб 17-го полка. Глянуть.

— Один, что ли?

— С твоего разрешения возьму пять командиров из политотдела, трех из штаба дивизии. Бойцов, сколько наберу. Может, штабу полка понадобится помощь. Может, пошлю кого во 2-й батальон — их ночью, думаю, надо выводить, хватит с нас и беды третьего батальона.

— И куда думаешь выводить второй батальон?

— К Артемкам, разумеется. Завтра немцы снова навалятся. Думаю, у Артемки самый бой и будет...

— Все ты правильно понимаешь, только выводы твои неверные, Григорий Мокеевич. Второй батальон снимать ни в коем случае нельзя. Думаю, что и завтра не снимем и не отведем. Немцы к Артемкам идут с севера, от Рогачева, следовательно — по проселкам и потому только с легкими танками и малыми силами, и мы от них отбиваемся. По шоссе им хода нет: второй батальон и батальон курсантов, врытые в землю танки их держат — так? Вот именно, что так. Уберем их от Юдинки — что получится?

— Что же, твоя правда мою перевесила. А беды не предвидишь — что

немцы и второй батальон, и курсантов истребят?

— Такая возможность не исключается, но положение батальона Щербакова пока достаточно устойчивое, и противотанковый артдивизион, судя по силе огня, пока держится. А ты сходи посмотри, что там в штабе 17-го полка и где майор Романов.

Вместе с политотдельцами, штабными командирами и бойцами у Мартынова было всего 28 человек—взвод*.

От деревни Артемки этот сборный взвод пересек шоссе, углубился в черный густой лес и двинулся в полной тишине на запад, к Юдинке: где-то там располагался прежде штаб 17-го полка. Мартынов выслал вперед двух бойцов, и вскоре они прибежали: «Товарищ полковой комиссар, там, в лесу, наш сержант, с ним бойцы и санитарка, все раненые, сами двигаться не могут...»

...Стояла у дерева армейская зеленая подвода, коня убило, и его выпрягли—оглобли уткнулись в снег. У бойцов винтовки со штыками, даже немного патронов. Оказалось—все из хозвзвода, вчера отбивали у немцев НП полка, потом их отправили в тыл, да только сержант был без сознания, а санитарка заблудилась, и напоролась на троих немцев—вон там они лежат, все трое, в кустах: санитарка успела гранату бросить, а больше у нее не осталось... Вот и куда им теперь—без коня-то?

За эти сутки, как оказалось, КП и штаб полка переместились. До боя были севернее деревни Знаменское, оттуда лейтенант Пастушенко увел оставшихся бойцов хозвзвода и обоз в сторону Фомина, а штаб полка, кто на ногах держался, ушел на запад, на соединение со вторым батальоном Щербакова.

* Некоторые авторы (в частности, К. Ф. Телегин) указывают, что в группе Мартынова было не 28, а всего 13 человек.

Комиссар Мартынов слушал очнувшегося старшего сержанта, прикидывая по карте, где теперь может быть КП и штаб полка. Уточнил: «Знамя полка где? Знаете?»

Сержант вздохнул—говорил он с трудом, сказывалась и вчерашняя контузия: «При знамени завсегда находился сержант Жданов, и видели его на КП, при майоре товарище Романове, и я самолично его там вчера видал. А ныне кто знает? Может, так при НП и оберегает знамя, а может, ушел и знамя унес... А может, душу богу отдал...»

Мартынов приказал раненым оставаться в повозке, санитарке оставил гранату—раз умеешь пользоваться, возьми еще одну; пообещал через час за ними вернуться и повел взвод куда-то в одному ему ведомое место между деревнями Юдинка, Алексинки и Фомино, где в густом сосняке должен был укрываться КП 17-го Краснознаменного имени М. В. Фрунзе полка.

Выстрелы и гранатные разрывы вспыхнули разом и совсем близко, прямо перед ними, за поредевшими соснами. Минуту-другую спустя Мартынов и его люди выскочили на опушку—в черных кустах засели наши, в белых полушубках их было четко видно, и со всех сторон наседали, лезли напролом немцы в серо-зеленых шинелях и железных касках. Без команды Мартынова сборный взвод ринулся вперед, в самую свалку—не ожидавшие удара в спину немцы всего на несколько секунд и растерялись, но этого вполне хватило: всех перекололи. А тут по-иному и действовать было нельзя: пули и гранаты могли задеть своих.

Сержант Жданов—точно—оказался здесь. Раненный в плечо, он через силу расстегнул крючки шинели, распахнул—вот, товарищ полковой комиссар, берите у меня полковое знамя, а я, кажись, отвоевался...

Мартынов покачал головой — нет, сержант, знамя сам понесешь, а мы тебя охранять станем.

Теперь их было тридцать два — сильных и здоровых. Мартынов поглядел на две запряженных армейских подводы, на бойцов, сносивших на подводы раненых, на мертвую опушку, где среди кустов, у деревьев, на снегу лежали вперемешку немцы и наши, снял шапку, поклонился: «Простите нас, товарищи, но похоронить вас не можем. Надо уходить...»

Начинало уже темнеть, когда невдалеке, в километре, вспыхнула пальба. Мартынов мгновенно понял: бой разгорается у Юдинки — там еще сидели в траншеях и дотах две роты курсантов и остатки второго батальона Щербакова.

Мартынов несколько мгновений прислушивался к грохоту боя: что делать? как поступить? повернуть направо, к Юдинке? Что это даст? подкрепит ли он курсантов? или повернуть налево и, пока курсанты сражаются, пройти тем же путем к Артему, каким шел сюда?

Он переполовинил свой взвод: при себе оставил зам. начальника политотдела В. И. Ярцева, сержанта Жданова и десять бойцов. Остальным приказал поспешить на помощь курсантам и передать им приказ командира дивизии Полосухина: Юдинку удерживать сколько сил хватит, без его приказа не отходить. Понимал, что посылает людей, откуда они едва ли вернутся, но убежден был: иначе поступить невозможно.

Люди, видимо, тоже все понимали и пошли беспрекословно, а когда последний боец скрылся за стволами сосен, велел возчикам самостоятельно — через лес на Артему раненых довести, сдать в лазарет. Объяснил, где сыскают раненого сержанта, его бойцов и санитарку, и велел трогать.

По лесу бродили разрозненные

группы и наших бойцов, и немецких солдат. К той телеге, что Мартынов оставил дожидаться его возвращения, выскочили немцы — их было пятеро; раненых и санитарку расстреляли, граната и на этот раз не спасла, но и сами уйти не успели: по тропе уже спешили Мартынов, Ярцев, бойцы... Тут они, все пятеро, и остались — у колес ненужной теперь телеги.

Еще через несколько минут Мартынов и его люди увидели немецкого мотоциклиста — коляска мотоцикла была пуста, мотоцикл нелепо переваливался с левого колеса на правый по узкой лесной дороге. Немец их, видимо, еще прежде заметил — успел-таки под огнем развернуться и уйти. Минут десять спустя слева, из-за деревьев, появились немецкие автоматчики, их было много, они бежали к Мартынову и что-то орали...

Один из бойцов, падая у дерева, крикнул:

— Уходите, товарищ комиссар, унесите знамя! Мы их задержим!

Мартынов, Ярцев и Жданов бросились вправо, через минуту густой сосняк заслонил от них и тропу, и оставшихся на ней бойцов, и набегавших немцев... Сколько-то времени пальба, крики, гранатные разрывы еще доносились до Мартынова, потом все стихло, лишь ветер угрюмо шумел в верхушках сосен; повалил густой, тяжелый от сырости снег. Еще с час Мартынов и двое его спутников шли через лес — Мартынов точно знал, что идет верно, идет на восток, выйдет где-то южнее Артемок.

IV

Полковник Полосухин к вечеру все же придумал, чем ошеломить немцев: он наконец-то дождался майора Наумова с его 322-м полком! Правда, прибыли два стрелковых батальона, второй и третий; эшелон с первым ба-

тальоном на подходе к месту разгрузки немецкие самолеты перехватили, разбомбили 26 вагонов — и батальона не стало. Но оба других от Можайска дошагали, передохнули, теперь уже и покормлены. Бойцам, конечно, порассказали, какое смертное побоище идет здесь, на Бородинском поле, вот уже третьи сутки. Напугать никого не напугали (по крайней мере, внешне никто не устранился), а вот чувство собственной вины у людей возникло: как же так? Дивизия третьи сутки бьется с фашистами, а их только что привезли!

Полосухин вызвал в штаб дивизии майора Наумова и двух командиров батальонов, велел следить по карте: «Вот Кукаринский лес, вот железная дорога, вот шоссе. Сегодня же ночью надо постараться хоть частично восстановить положение, немецкий прорыв ликвидировать. Ударим именно ночью. За шесть месяцев войны уже ясно: противник ночью не воюет. Батальон капитана В. А. Щербакова должен окружить взятое немцами два дня назад село Рогачево. Всех немцев в селе истребить, уйти не должен ни один. В Рогачеве до 20 танков и бронемашин — их забросать гранатами и сжечь. С батальоном пойдет батарея сорокапятки, а чтобы пушки катились пошустрее, придать каждому расчету по три бойца из пехоты. К утру Рогачево взять и быть готовыми к отражению очередной немецкой атаки, для этого доты и дзоты за ночь восстановить, траншеи углубить...» — И добавил, поглядывая на Щербакова, — насколько успеешь и насколько удастся».

3-му батальону 322-го полка досталось этой же ночью брать деревню Утица. Полосухин разъяснил майору Наумову: «Для атаки на Утицу надо привлечь вообще все силы полка, немцы там успели закрепиться, и вышибить их будет непросто. Атаку поддержит гаубичный артполк. Время и

сигнал к атаке согласуй с майором Битюцким».

Капитан В. А. Щербаков воевать вслепую не стал: выслал в Рогачево разведку и к часу ночи точно знал, где немцы поставили свои танки и бронемашин, где скопились бронетранспортеры. Трех разведчиков — лейтенанта И. Д. Кочнева, рядовых Григория Бровкина и Семена Гореловых — поблагодарил сердечно, каждому пожал руку и велел пока отдыхать. Потом приказал, чтобы от каждой роты дали ему по десять бойцов и по одному помкомвзвода; еще велел собрать для этих групп бутылки «ДС» и противотанковые гранаты. По карте командирам рот указал, какая откуда врывается в Рогачево и чтобы крику было поменьше, зачем их, гадов, заранее будить? Они от взрывов и выстрелов все равно проснутся, только пусть позже, чем раньше...

Батальон этот бой разыграл, словно по нотам; словно и противник был так, непутевый или условный: не столько сопротивлялся, сколько в поддавки играл. Первой в Рогачево с севера ворвалась рота старшего лейтенанта Глухова — бойцы, переколов ножами охрану, побежали группами по уцелевшим избам выковыривать спящих немцев; минут десять над селом царил тишина, потом загрохотали взрывы у берега Еленки, где немцы сгрудили на ночь бронетехнику.

Танков, бронемашин и бронетранспортеров оказалось не 20, много больше, их все враз подорвать и сжечь не удалось. Три танка вдруг затарахтели моторами, задвигались — покатали один за другим к мосту через Еленку. Здесь, на подходе к мосту, их поджидала сорокапятка сержанта Смирнова. Очень уж ясно было видно эти танки: сбоку, слева, поыхал крытый соломой огромный сарай, жар от пламени летел в лицо артиллеристам, но к мосту они не пропустили ни одного

танка — все три расстреляли, четвертой подбили спешившую за ними бронемашину...

К утру командиры рот доложили: в Рогачеве из 17-го полка никого не нашли, ни живых, ни раненых, ни мертвых; их прежние позиции роты заняли, сейчас бойцы спешно восстанавливают огненные точки, долговременные и деревянно-земляные; сколько набили немцев, никто из ротных командиров в точности сказать не мог: кто бы их там, в темноте, ночью стал пересчитывать? Потом капитан Щербаков доложил в полк: деревня Рогачево взята, немецкий гарнизон — до батальона пехоты — истреблен весь, сожжено 30 танков и бронемашин.

3-й батальон в эту же ночь выдвинулся к северной окраине деревни Утица, и как только запылали пожары в недалеком Рогачеве, как только загрохотали приглушенные расстоянием удары сорокапятков, бойцы бросились вперед. Ночной бой сложился из суматохи, надрывных криков, разрывов гранат... В батальоне половина бойцов прошла через Хасан, молодые, еще не знавшие боя, от них не отставали.

У немцев в Утице танков оказалось немного, всего шесть. Четыре сожгли бутылками с горючей смесью в самом начале, экипажи перехватили на полпути, до танков добежать не дали. Еще два пошли было по широкой деревенской улице — на них бесстрашно кидались со всех сторон, не обращая внимания на неслышные в крике пулеметные очереди, на падающих под очередями людей, и не успокоились, пока оба танка не задымили...

Батальон взял Утицу, одна из рот, преследуя немцев, проскочила лес и в занимавшемся утреннем свете увидела вдалеке прямо перед собой деревню Дорошино. До нее было рукой подать, и туда ушли бежавшие немцы. Левее Дорошина угадывалась Верх-

няя Ельня, там тоже были немцы... Ротный командир сверился с картой — правее Дорошина лежала деревня Шевардино, в километре от нее, южнее — знаменитый Шевардинский редут... Ротные иные разгоряченные боем головы попридержал, дальше леса соваться не велел, а приказал спешно окапываться, прямо здесь, у кромки Утицкого леса. Сразу же подошла еще одна рота батальона, с таким же точно приказом: окапываться, держать немецкие танки. В Утице осталась третья рота и еще отряд майора Воробьева — что за такой «отряд», кто он есть, майор Воробьев, ни тот, ни другой ротный командир понятия не имели: ни в одном из полков дивизии такого комбата не было, это точно...

V

Весь день 15 октября и всю ночь на 16 штаб Московского военного округа работал без пауз и без передышки. В кабинете К. Ф. Телегина, на стене перед рабочим столом, висела карта, по которой адъютант флажочками отмечал продвижение немецких танковых колонн — этих колонн в течение дня становилось все больше: кровопролитные бои под Вязьмой постепенно затухали и все, что там освобождалось, теперь ползло, катилось к линии фронта, растягивалось по подмосковным дорогам на многие километры. Четвертая полевая армия нагоняла 4-ю танковую группу Гепнера.

У командующего ВВС Московского округа, как и в Московской зоне ПВС, основной силой были истребители, бомбардировщиков было очень мало, штурмовиков пока не было вовсе, и немецкие танковые и механизированные колонны шли и шли бесконечно, не опасаясь ударов с воздуха.

К 23 часам 15 октября Телегину принесли на подпись итоговое доне-

сение за сутки в Генштаб — подписи командующего округом и начальника штаба уже стояли, — и у дивизионного комиссара сжалось сердце. Не от страха, не от боязни за себя лично — от того, насколько ощутимой стала за эти сутки угроза, что немецкий танковый вал не удастся остановить, что он до Москвы может докатиться и придется вести бои в самом городе. Разговоров пока об этом, правда, не было, но мысль такая Телегину пришла...

Калинин немцы взяли еще вчера, и сегодня весь день их 3-я танковая группа подтягивала корпуса для удара на Клин и Яхрому. На левом нашем фланге один из корпусов 4-й танковой группы, 57-й, ворвался в Боровск и Верею. Бои за эти города длились весь сегодняшний день, но немцы обошли наши позиции с обоих флангов, и командующий 43-й армией приказал войскам отойти за реку Протву и здесь закрепиться.

От Боровска 57-й немецкий корпус повел наступление на Наро-Фоминск и Балабаново. Хватит ли сил у только что созданной 33-й армии генерала Ефремова остановить это продвижение, ручаться не мог никто, а от Наро-Фоминска до Подольска — рукой подать, Подольск же — считай, окраина Москвы...

При всем при том 5-я армия генерала Лелюшенко и ее 32-я Дальневосточная дивизия вот уже четвертые сутки не пропускала 40-й танковый корпус немцев через Бородинское поле. Там, правда, все висело на волоске: боевые порядки дивизии немцы сумели расчлениить. Как и за счет чего держался Полосухин, рациональному объяснению не поддавалось. Но если завтра дивизии 57-го корпуса немцев от Боровска — Наро-Фоминска зайдут с юга в тыл дивизии Полосухина, то повторится то, что случилось под Вязьмой: окружение и истребление... Самое тяжкое для Телегина во всем

этом было сознание, что он решительно ничем не мог сейчас помочь дивизии Полосухина: головные эшелоны 50-й дивизии были где-то на подходе за пределами Московской области...

В начале первого часа ночи Телегин провел короткое заседание Военного совета округа. Начальник штаба округа генерал-майор А. И. Кудряшов доложил: «Есть указание Генштаба срочно, за ночь, сформировать восемь отрядов во главе с инженерами-минерами, обеспечить их автомашинами, взрывчаткой и с утра 16 октября выслать на все шоссе и дороги, ведущие в Москву с севера, запада и юга. Задача: подготовить к взрыву ближайшие к Москве мосты. Особое внимание шоссе Ленинградскому, Волоколамскому и Можайскому, где положение наименее устойчиво. Взрыв разрешается провести только по приказанию старшего войскового начальника на данном направлении либо в случае приближения танков противника».

Телегин спросил генерала Кудряшова: «Кому поручим всю подготовительную работу?» Кудряшов пожал плечами: «Разумеется, я возьму это на себя. Поможет полковник Белов».

Телегин согласился: «Так и решим. Но группы подрывников надо охранять: немцы могут выбросить десанты, расстрелять наши подрывные группы и предотвратить взрыв мостов — учтите это».

Еще через час прибыл вызванный прежде полковник А. К. Смирнов, комендант 37-го Малоярославского укрепрайона. Смирнову Военный совет поручил создать Подольский оборонительный рубеж. Правый фланг этого нового рубежа должен был перекрыть пути движения немецких танков от Можайска к Москве — если 5-я армия будет вынуждена сдать Можайск. Когда полковник Смирнов заикнулся о сроках, дивизионный комиссар только

желваками поиграл: «Получите через три часа в свое распоряжение Управление № 1 военно-полевого строительства, у них организация мощная, четыре армейских стройотдела. Техника есть, люди есть. Вчера прибыли в Москву из такого глубокого тыла, что и говорить не хочется. Пока на колесах, завтра с утра двинетесь с ними эшелонами на Подольск. Одно подразделение оставьте у Кубинки, перехватывайте Можайское шоссе. Со вчерашнего дня люди работают на всех участках, московские рабочие с кирками и лопатами. Подчините их себе.—Он поманил рукой полковника Смирнова и, когда тот придвинулся, сказал совсем тихо:—А сроков у нас нет никаких. Совершенно нет. Если бойцы на фронте продержатся сутки—значит, имеете сутки. Если дольше—стало быть, и вам больше времени останется. Если за эти сутки-двое немецкие танки до вас докатятся—возьмете винтовки и будете сражаться».

VI

О том, что русские провели две ночные атаки и снова заняли деревни Рогачево и Утицу, командир 40-го корпуса генерал Штумме доложил Гепнеру ранним утром 16 октября. Гепнер понимал, что это частный успех русских, что развить его русские за недостатком сил не могут: офицер абвера уверяет, что подхода новых русских дивизий в их тылу не отмечено; понимал Гепнер и то, что русские с утра снова перейдут к обороне и что инициатива по-прежнему остается у танковой группы. Но после трех суток боев он вдруг ощутил глухое недовольство, даже раздражение нерешительными действиями генерала Штумме: как же так? Берлин считает, что с русскими после Вязьмы покончено, что теперь перед 4-й танковой группой пустота, а 40-й корпус с тре-

мя своими дивизиями и приданная корпусу 7-я Мюнхенская не в состоянии сломить сопротивление одной—всего лишь одной!—дивизии врага, пробиться через Бородинское поле и выйти наконец к Можайску! Это недовольство и раздражение проявились в том, что Гепнер прямо заявил генералу Штумме: «Войска надо встряхнуть! Надо оживить их дух! Надо указать солдатам цель, которая приведет к окончанию тяжелого похода и покроет их славой! Укажите перспективу предстоящего отдыха—и не забывайте, что русская зима очень сурова. Это я для господина генерала подчеркиваю суровость русской зимы, солдат предстоящими морозами и зимними тяготами пугать не следует. А руководит корпусом с энергией и верой в победу—совершенно необходимо!»*

В таком жестком тоне Гепнер с генералом Штумме прежде не разговаривал. Они продолжали вместе весь поход от Восточной Пруссии до Ленинграда, вместе прорывали русский фронт южнее Вязьмы и четко замкнули кольцо окружения, соединившись с наступавшими с севера частями 3-й танковой группы. До вчерашнего дня Гепнер был совершенно уверен, что на генерала Штумме можно положиться. Но отдать две деревни, которые уже были взяты, отступить, чтобы сегодня с утра их снова атаковать, снова нести потери от огня русских орудий—такого Гепнер генералу Штумме ни позволить, ни простить не мог. Спросил: «Что спланировал корпус на текущие сутки? какова конечная цель сегодняшних боевых действий? какими силами и где именно будет нанесен удар? достаточно ли этих

* Высказывания генерал-полковника Эриха Гепнера не есть плод фантазии автора, они приведены в книге Д. Проэктора «Агрессия и катастрофа». С. 340.

сил? есть ли уверенность, что сегодня сопротивление русской дивизии будет наконец сломлено?»

Если генерал Штумме и был обижен упреками и самым тоном разговора, Гепнеру он этого не показал. Заверил, что сегодняшний удар будет окончательным: оборона русских за три дня боев полностью расшатана, их артиллерия понесла колоссальные потери и поддерживать прежнюю интенсивность огня не сможет. В любом случае танковым частям поставлена задача—вновь взять Артемки и раздавить русские гаубицы на позициях за Артемками.

Гепнер заверения в успехе принял, сказал: «Помогай вам бог, Штумме. Если сумеете захватить русского полковника, людям группенфюрера СС

Артура Небе* его не отдавайте, везите сразу ко мне. Вы ведь знаете, где штаб русской дивизии? Офицер абвера дал информацию? Вот и ловите этого полковника. Подумайте—он ведь даже не генерал, а мы с вами, два высоких генерала, не можем с ним разделаться!»

* На основании договоренности между генерал-квартирмейстером сухопутной армии Э. Вагнером и руководителем РСХА Р. Гейдрихом от 25 марта 1941 г. на территорию СССР вместе с армией вводились особые отряды, на которые возлагались обязанности по уничтожению гражданского населения, они же расстреливали захваченных в плен командиров и политработников РККА как «зараженных большевизмом»; обнаружение командиров и политработников в пересыльных лагерях считалось минусом в работе «айнзатцкоманд».

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

Январь 1942 г.

...Сейчас сижу перед минометами, из которых только что вел огонь. Воспользовался передышкой и заканчиваю тебе письмо, неожиданно прерванное вчера. Я бесконечно благодарен за твои горячие душевные пожелания, за всю нежную заботу обо мне. Всеми силами, мыслями, чувствами и делом я постараюсь оправдать эту заботу и гордость матери...

Твой любящий сын

10 марта 1942 г.

Добрый день, многоуважаемые родители папа и мама. Шлю я вам свой душевный привет и желаю доброго здоровья. Писем вам долго не писал ввиду того, что я был на фронте. Приезжал в Ярославль на отдых. На фронте я был в наступлении. Гоним фашистов на Запад. Бью фашистов из миномета...

С приветом М. Воробьев

4 июня 1942 г.

Милые Нина, Славик и бабушка!

Сегодня в полдень мне пришлось уснуть, так как по обстановке в ночь спать не пришлось, и вот я увидел сон, что возвратился к вам и застал вас всех дома. Когда я взял Славу на руки, он меня не признавал и громко плакал. Вскоре я проснулся. Так хотелось видеть всех вас, так поднялась жгучей болью скука, что трудно даже и передать...

Ваш Иван

Михаил Небогатов

КОГДА ПРОЙДЕТ В ДУШЕ НЕВЗГОДА

Разбирая архив М. А. Небогатова, я, к удивлению своему, обнаружила в его шкафу рукописный сборник. Михаил Александрович рассказывал мне, что после тяжелого ранения лежал в госпитале в грузинском городе Боржоми и там родилась серия стихов. Правая рука была изранена и не действовала, работал левой. Я была удивлена, каким каллиграфическим почерком (это левой-то рукой!) написан весь сборник. Оформлен аккуратно, словно хорошим переплетчиком. Текст читается легко, свободно, нигде ни единой пометки. А ведь этой рукописной книжке 50 с лишним лет. Многие стихи посвящены неповторимой природе прекрасной Грузии, ее гостеприимным людям. И все-таки даже там, в тихом благословенном краю, он не мог не писать о войне, где остались его товарищи по оружию, где продолжались страшные бои.

Стихи из этого найденного сборника я и предлагаю читателю.

Мария Небогатова

ПОЛДЕНЬ

Природа здесь необычайна:
Она и осенью цветет.
Осенний дождь, как гость случайный,
Недолго хмурит небосвод.
Здесь солнце — царь любимый юга.
И под огнем его лучей
Не отыскать вернее друга
И ласки этой горячей.
А небо! Хоть его немного
В огромных стенах многих гор,
Но горизонт обняв полого
Стихиям бурь наперекор,
Оно цветет прозрачно-сине
И нет ни облачка на нем.
Мы ни в глазах, ни на картине
Такого цвета не найдем.
Я знаю — будет сердцу дорог
Вид здешних тропок и дорог,
В безлюдных горных коридорах
Шум рек, камней и листьев шорох,
И свежий горный ветерок.
Но не изменит сердце вечно
Тебе, родной сибирский край,
Хотя бы ты был ад крошечный,
А здешний мир — волшебный рай.

1943

Боржоми

НА ПЕРЕДОВОЙ

Солнце высоко над головою,
Зной плывет, струится над землей.
Ты лежишь, прислушиваясь к вою
Мин, летящих прямо над тобой.
Говорят, попав на фронт впервые,
Все боятся смерти каждый час.
Не страшны, мол, грозы фронтовые
Тем, кто в бой идет не в первый раз.
Мол, привычка. Глупости. Не верьте.
Бой — он бой, не летняя гроза.
Как же так привыкнуть можно
к смерти,
Даже если смотришь ей в глаза?
Смерть повсюду —
в тонком свисте пули,
В вое мин, который душу рвет,
В жуткой песне бомб,
в моторном гуле.
Смерть тебя на каждом месте ждет.
Но, когда ты, оглушенный боем,
Помнишь назначение свое —
Ты стремишься даже стать героем,
Побеждаешь смерть, забыв ее.
После, как утихнет канонада,
Ты, сидя в немецком блиндаже,
Улыбнешься: «Все прошло как надо».
И спокойно снова на душе.

1943

Боржоми

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вас бы встретить надо по-другому —
За богатым праздничным столом.
Вам, Герою, гостю дорогом,
Поднести бы дар — бокал с вином.
Чтоб звучали в честь Героя тосты,
Чтоб поэт поздравил Вас в стихах.
Мы ж встречаем Вас, товарищ,

просто:

С чувствами горячими в сердцах.
Не слышать ни тостов, ни оркестра,
Не беда, что нету и вина.
Жизнью управляющий маэстро
Над страной стоит сейчас война.
Почестей Вы больших заслужили.
Но — простите нашу простоту.
Многие сегодня оживили
Давнюю заветную мечту.
Увидать Героя всяк мечтает.
Но в бою случается порой —
Человек дерется и не знает,
Что он сам и есть живой герой.

1943

ПОСЛЕ БОЯ

Забуду ль я когда-нибудь,
Когда пройдет в душе невзгода,
Про весь бредовый, сложный путь,
Какой прошел я за два года?
Теперь, пока грозы уж нет,
Пока опасность миновала,
Я удивляюсь, что не сед,
Что юность восторжествовала.
Все это сон. Не может быть,
Чтоб эти руки убивали!
Они ль, когда я мог любить,
Так нежно девушку ласкали?
Да, это сон. Тяжелый сон.
Он полон страшного кошмара,
Когда я буду разбужен,
Когда очнусь, как от удара?
Смогу ли я еще любить,
Жалеть и плакать так, как прежде,
Веселым быть, мечтать и жить,
Вверяясь счастью и надежде?
Не знаю. Но пока судьбой
Я точно предан злему змею:
Смеюсь над всеми и собой,
Но прежним быть еще не смею.

1943

Боржом

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

5 сентября 1942 г.

...Теперь вам наказ, Маня! Живи самым аккуратным образом. Помни, что у тебя
есть муж и двое детей, которых мы будем воспитывать вместе... Я человек в этой
области чрезвычайно честный. Я люблю свою жену и детей и какой-либо подлости
никогда не поддамся.

Остаюсь жив-здоров, того и вам желаю.

Ваш муж Яша

13 сентября 1942 г.

Дорогая Паша! Сегодня мы идем на выполнение боевого задания... Что будет
с нами, этого никто не знает.

Ваш Федя

Юрий Котляров

ЗАПОМНИТЕ ИХ ПОИМЕННО

ДВА АЛЕКСЕЯ

Несколько лет назад в журнале «Огонек» была опубликована небольшая заметка под заголовком «Поединок». В ней рассказывалось, что в одном из боев на Орловско-Курской дуге старший сержант А. И. Денисов из противотанкового ружья сбил два вражеских самолета-бомбардировщика. Сейчас это ружье хранится в Артиллерийском историческом музее в Ленинграде.

Этот номер «Огонька» попал в руки помощника машиниста паровоза Топкинского депо Егора Игнатьевича Денисова. Прочитал он заметку и заволновался:

— Неужели брат Алексей? Все как будто сходится...

Срочно собрали семейный совет. Многие годы ничего не было известно о старшем сыне Христины Михайловны Денисовой. И вот — скупое, но такое желанное сообщение о его подвиге. Может, в музее знают, как сложилась дальнейшая судьба Алексея?

Тут же написали письмо в Ленинград. И через несколько дней получили ответ. Ученый секретарь музея общал:

«Уважаемая Христина Михайловна! В Артиллерийском историческом музее в отделе «Советская артиллерия в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» экспонируется противотанковое ружье системы Дегтярева образца 1941 года № МБГ-624, при-

надлежавшее Вашему сыну — броневой бойщику старшему сержанту А. И. Денисову...

Ружье вместе с другими боевыми реликвиями было передано на вечное хранение в музей командованием Нской дивизии в 1943 году. В 1945 году музей делал попытку разыскать Денисова, но безрезультатно...».

Итак, работники музея ничего не добавили к тому, что уже знала о сыне Христина Михайловна. И только через несколько лет вновь пришло письмо из Ленинграда: «В музее имеются документы, подтверждающие, что Ваш сын в годы Великой Отечественной войны храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками».

Прослышав о герое-земляке и его ружье, ставшем исторической реликвией, я в первую же командировку побывал в аккуратном белом домике Денисовых на окраине города Топки. Христина Михайловна и второй ее сын, Николай Игнатьевич, рассказали о своей семье.

Была она большой и шумной — четыре сына и три дочери. Отцу, инвалиду первой мировой войны, одному трудно было прокормить такую ватагу. Вот и приходилось детям побыстрее вставать на самостоятельный путь.

После пятого класса пошел работать на почту старший — Алексей. Потом он стал кочегаром на паровозе. Вслед за ним потянулись на желез-

ную дорогу Николай и Егор. В 1937 году братья вступили в комсомол.

Алексей рос веселым и озорным пареньком, слыл заядлым охотником. Глаз у него был меткий, выстрел точный. Зайцев бил на бегу с одного патрона. По шесть штук за раз приносил. И братьев учил охотничьему искусству.

Подошел срок — все трое по очереди, сменяя друг друга, отслужили положенное в рядах Красной Армии. Только младший, Иван, оставался дома — он еще не закончил курса школьных наук.

Едва успели старшие братья после демобилизации сменить гимнастерки на рабочие спецовки, как грянула Отечественная война. Первым снова надел солдатскую шинель Алексей. За ним — Николай. Путь их лежал на запад, на фронт. Егору выпало нести вахту на востоке.

В 1943 году сел на коня безусый солдат-разведчик Иван Денисов. Вслед за братьями, окончив железнодорожное училище и получив удостоверение токаря, уехала на фронт сестра Татьяна.

Тихо и пустынно стало в доме Денисовых. С тревогой слушали старики радио, нетерпеливо ожидали прихода почтальона, по нескольку раз перечитывали письма детей. А те, как могли, ободряли родителей. Били они врага крепко, по-сибирски.

Уже в самом начале боев Алексей получил две благодарности от командования. А вскоре к ним прибавилась и первая правительственная награда — медаль «За отвагу».

Во время боев под Сталинградом подразделение Алексея попало в окружение. Семь дней и ночей под огнем врага, голодные, изнуренные выходили бойцы из кольца. Растапливали снег, сдабривали солью — так и питались. Но никто не роптал, не пал духом. У всех была одна мысль —

выстоять, выдержать! И Алексей с товарищами пробился к своим и снова храбро дрался у стен города-героя на Волге.

А где-то рядом, у Дона, ходил в атаки Николай. Только много позднее узнал он, что воевал с братом на одном фронте.

Три раза пули настигали Алексея, и каждый раз он возвращался в строй. Последняя рана оказалась тяжелой. После госпиталя его отпускали на побывку домой, долечиваться. Но Алексей написал родным: «Сейчас не время отдыхать, надо поскорее добывать проклятого врага. Победим, тогда вернусь, и погуляем на славу!»

Зимой 1944 года пришел от него последний солдатский треугольник: «Пишу на коленках, на танке. Время горячее. Жив, здоров. Бьем фрицев здорово. Надолго запомнят они сибирскую «окрошку»... А через месяц почтальон принес короткое страшное известие: старший сержант Денисов Алексей Игнатьевич, находясь на фронте, пропал без вести...

Бедя не оставила семью Христины Михайловны и после этого. Не успели родители оплакать гибель старшего сына, как получили еще один удар. Командование Н-ской части сообщило, что «солдат Денисов Иван Игнатьевич в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был ранен и умер от ран 14 февраля 1945 года. Похоронен с отданием воинских почестей».

Потом вернулась с фронта Таня. Выполняя боевое задание, она простыла и тяжело заболела.

Николай продолжал воевать — за погибших братьев и за сестру. Закончил он свой боевой путь вместе с Егором на Дальнем Востоке, пройдя стремительным рейдом по Маньчжурии, оккупированной японскими самураями.

Мать показывает мне фотографии, немногие сохранившиеся документы. Но среди них, к сожалению, нет тех, о которых сообщал ученый секретарь музея.

Пришлось попросить выслать их фотографии. Ответ пришел быстро. И вот передо мной справка на имя Алексея Игнатьевича Денисова, выданная командованием артиллерийского полка 17 марта 1942 года. Еще — боевая характеристика более позднего времени. В ней рассказывается, что «при прорыве линии обороны противника в районе деревни Вяжи и при дальнейшем наступлении на совхоз «Ржавец» 14—15 июля 1943 года старший сержант Денисов А. И. из противотанкового ружья сбил два немецких самолета-бомбардировщика», а на следующий день в деревне Очкасово он же из захваченной вражеской магазинной винтовки уничтожил 14 фашистов и шестерых взял в плен.

Да, не так часто на фронте из противотанкового ружья, притом в одном бою, сбивали не то что по одному, а по два бомбардировщика. Для этого нужны и незаурядное мужество, и смекалка, и выдержка, и отличное умение вести прицельный огонь. Вот почему оружие героя и хранится в музее.

Но что это? Характеристика, в отличие от справки сорок второго года, написана на бронебойщика роты противотанковых ружей Орловской стрелковой дивизии старшего сержанта Денисова Алексея ИВАНОВИЧА! Он родился в 1922 году, работал до войны техником-электриком, жил в городе Белово той же нынешней Кемеровской области на улице М. Горького в доме № 165 и стал бойцом Красной Армии 4 апреля 1942 года, т. е. тогда, когда Алексей Игнатьевич уже совершал на фронте свои первые подвиги!

Значит, тот подвиг, о котором писал «Огонек», принадлежит не топкин-

скому, а беловскому Денисову? Значит, работники музея допустили непростительную ошибку, не обратив внимания на отчества героев, на расхождения в их биографиях?

Тяжело узнавать о таких недоразумениях...

Но какова же все-таки судьба того Денисова, чье ружье хранится в Артиллерийском музее?

По моей просьбе в поиск включились газета «Комсомолец Кузбасса», Беловский горком комсомола. И наконец почтальон принес письмо, написанное аккуратным учительским почерком. Пришло оно из поселка Бачаты Беловского района.

«Трудно передать, какое чувство испытали мы,— писала Александра Ивановна Денисова,— когда прочитали Вашу статью, так как считаем, что Денисов Алексей Иванович является моим братом и сыном моих родителей. Обмануться трудно, потому что домашний адрес, год рождения, специальность — все сходится».

А еще через несколько дней я беседовал с отцом героя — Иваном Петровичем. Дрожащими от волнения руками достает он из школьного портфеля фотографии, документы, письма сына. Да, письма шли по адресу: город Белово, улица М. Горького, дом № 165, где тогда жили Денисовы.

Алексей окончил восемь классов в Гурьевске и поступил в Томский техникум путей сообщения. Был он юношей общительным, верным товарищем, заводилкой всяких интересных дел. И при всем при том, как ни странно, говорил отец, — сдержанным и не очень-то разговорчивым. Очень любил спорт. Дома под кроватью у него всегда лежали тяжеленные гири, а в техникуме Алексей пользовался репутацией непревзойденного штангиста и заядлого туриста. Едва наступали летние каникулы, он вместе с друзьями отправлялся то на Алтай,

на Телецкое озеро, то на Кавказ — побродить по лесам с рюкзаком за плечами, подышать пьянящим чистейшим горным воздухом, мир посмотреть...

В 1941 году Алексей успешно окончил техникум и получил назначение сначала на Дальний Восток, а потом — в Саратов. Заехал в Белово, несколько дней отдохнул у родителей, помог им по хозяйству. Был очень рад, что становится отныне настоящим рабочим человеком. И — волновался, не скрывая, — как-то начнется для него самостоятельная трудовая и личная жизнь?

Война застала Алексея Денисова в Саратове, где он работал техником-электриком на железной дороге. В Кузбасс шли от него редкие короткие письма — не любил он, как и прежде, много рассказывать о себе.

В 1942 году Алексей долго молчал. Наконец 24 января сорок третьего сообщил:

«Сейчас я уже не в Саратове, а в Балакове. Из Саратова меня хотели взять в армию, а начальник дистанции не отпустил и послал в командировку, под Сталинград, где меня ранило в грудь. После ранения попал в госпиталь. Пролежал дней 10—12 и сразу же — на пересыльный пункт, а потом в училище»...

Следующие письма шли уже с фронта. Но о боях в них — ни слова! Алексей пишет, что живет хорошо, питание нормальное, погода хорошая...

И вот — последняя весточка, донесенная полевой почтой:

«Здравствуйте, дорогие родители!

Прежде всего сообщаю, что я жив и здоров. Живу хорошо, чувствую себя тоже хорошо. Так что обо мне прошу не беспокоиться. Письмо от Шуры (сестры, которая первой откликнулась на публикацию в «Комсомольце Кузбасса» — Ю. К.) получил вчера. Прошу Вас: пишите чаще письма. Здесь читать мне их очень приятно. Привет

всем родным и знакомым. Ваш сын Алексей».

Написано это письмо 6 июля 1943 года — за неделю до того дня, когда отважный бронбойщик совершил свой легендарный подвиг — из противотанкового ружья сбил двух фашистских стервятников...

Вскоре после этого родители получили весточку от одного из фронтовых друзей сына. Он передавал, что Алексей ранен в ногу и отправлен в госпиталь (к сожалению, это письмо не сохранилось). Больше Денисовы ничего не знают о судьбе Алексея. Иван Петрович несколько раз пытался найти следы сына, однако безуспешно.

На этом пока обрывается повествование о двух Алексеях Денисовых. Но так хочется надеяться, что только — пока, что найдутся среди читателей очевидцы их подвигов, их гибели, откликнутся, помогут дописать их биографии...

Удивительно схожи судьбы двух однофамильцев и тезок. Оба выросли в Кузбассе, работали на железной дороге, оба сражались и были ранены под Сталинградом, и тот, и другой — старшие сержанты — пропали без вести. И пусть Алексей Игнатьевич из Топок не совершал подвига, о котором рассказывают музейные экспонаты. Но разве он не герой Великой войны, разве он не проявил незаурядного мужества в борьбе с захватчиками? И разве его младший брат Иван погиб не геройской смертью? А разве не до конца исполнили свой воинский и гражданский долг Николай, Егор, Татьяна?

Нет, по праву гордятся своими детьми и Христина Михайловна, и Иван Петрович Денисовы. И никто не может хоть в чем-то попрекнуть обе семьи Денисовых за их сыновей-солдат...

«МНЕ СКУЧНО БЕЗ САМОЛЕТА»

Листая один из номеров журнала «История СССР», я заинтересовался статьей В. М. Гапонова «Герои-гастелловцы». В числе других летчиков, в разное время повторивших бессмертный подвиг капитана Гастелло, в статье был назван Александр Александрович Колядо, уроженец станции Тайга. Захотелось побольше узнать о своем земляке. Кто он? При каких обстоятельствах героически погиб?

Сотрудники Архива Министерства Обороны СССР и Кемеровского обкома помогли познакомиться с сохранившимся личным делом летчика Колядо.

Родился Александр в апреле 1918 года, трехлетним лишился отца. Все заботы о воспитании детей (их было семеро) легли на плечи матери.

Окончив шесть классов, Александр поступил в школу ФЗО в родном городе, затем работал слесарем в паровозном депо. Тут он получил крепкую рабочую закалку, стал ударником. Его фотографию поместили на Доску почета. Здесь же, в депо, Сашу приняли в комсомол. В горкоме ему вручили новенький билет № 10207401.

Но у слесаря Колядо была давняя заветная мечта — его тянуло в небо. Он любил высоту, скорость, риск. Жить так, чтобы дух захватывало!

Александр с увлечением занимался в Тайгинском аэроклубе, в 1940 году уходит в школу пилотов.

В начале войны Колядо заканчивает учебу сержантом. Рвется на фронт, но его направляют в резервный полк на Дальний Восток: так требуют интересы Родины. Колядо продолжает упорно учиться и живет одним стремлением — поскорее попасть на фронт.

В августе 1943 года Александру присваивают звание старшины и назначают командиром звена, а через три месяца переводят пилотом в штурмовой авиаполк. Это — шаг к цели, к долгожданной схватке с врагом! Тогда же старшину принимают кандидатом в члены Ленинской партии.

Но только через год старший лет-

чик-штурмовик младший лейтенант Колядо впервые вылетел на выполнение настоящего боевого задания. Он быстро освоился с фронтовой обстановкой, вошел в новый для него коллектив.

Время было горячее. Третий Белорусский фронт добивал гитлеровцев в Восточной Пруссии. Александр Колядо не знал отдыха. С 13 по 25 октября 1944 года он сделал на своем «ИЛ-2» десять успешных боевых вылетов, уничтожил один танк, 7 автомашин, 9 повозок, батарею зенитной артиллерии, поджег склад боеприпасов, отправил на тот свет полсотни солдат и офицеров противника. Особенно удачным для Александра стал день 20 октября. В первый вылет он пушечно-пулеметным огнем и бомбами разбил 7 фашистских автомашин, а поднявшись вторично, подавил огонь трех точек малой зенитной артиллерии, дав возможность своей группе успешно и без потерь выполнить боевое задание.

В наградном листе, подписанном командиром полка, о младшем лейтенанте А. А. Колядо, говорится: «В бою смел, решителен, инициативен. Достоин ордена Красной Звезды».

Но получить награду Александр не успел. 17 января 1945 года в полдень группа штурмовиков вылетела в район города Кусеен. В числе получивших задание был и Колядо. Перед

вылетом, видимо хорошо сознавая всю ответственность и опасность, Александр сказал своему другу младшему лейтенанту Меньшикову:

— Если подобьют над территорией фашистов, врежусь в их батарею или танки...

У города Маллвишкен наши самолеты обстреляла вражеская зенитная батарея. Получив приказ, Колядо атаковал ее. На третьем заходе от прямого попадания снаряда его самолет загорелся. Александр не колебался. Набрав высоту 250—300 метров, он развернулся и перевел свой «ИЛ» в пики...

В личном деле хранится строгое, сжатое донесение очевидцев подвига Александра Колядо:

«Мы, летчики истребительного авиаполка майор Гонтаренко и капитан Макаров, сопровождая группу штурмовиков (ведущий лейтенант Чернов) в районе западнее Кусеена, 17.01.45 г. в период 12.55—13.45, наблюдали, как из группы Чернова четвертый ведомый, у самолета которого загорелся в воздухе мотор, развернул свою горящую машину и врезался в скопления живой силы и техники противника.

По нашему наблюдению, самолет был управляем, и при желании летчик мог бы приземлиться на территории противника. Считаю, что летчик совершил подвиг и погиб смертью храбрых».

Так оборвалась жизнь бывшего летчика со станции Тайга. Он предпочел погибнуть, похоронив под обломками своей горящей машины десятки гитлеровцев, чем попасть в плен...

Долгое время никак не удавалось отыскать ни родственников, ни товарищей Александра, которые смогли бы подробнее рассказать о нем, о его детских и юношеских годах. Наконец старожилы Тайги подсказали, что в Томске живет старшая сестра героя, Надежда Александровна Пасюкова.

Позднее из Минска откликнулся его друг детства, Герой Советского Союза Михаил Федосеевич Шатило.

...Домик Пасюковых на Второй Рабочей улице в Томске разыскал без труда: уважаемых ветеранов-железнодорожников здесь хорошо знают. Узнав о цели приезда, Надежда Александровна разволновалась:

— Значит, помнят еще Сашу...

Она достает семейные альбомы, показывает фото брата: Саша — подросток, курсант школы пилотов, за месяц до войны, в мае сорок третьего...

— Мы с Сашей, — рассказывала Надежда Александровна, — были самыми младшими в семье. Тяжело пришлось всем нам после смерти отца. Двадцать первый год. Голод... Очень, очень трудно было маме, неграмотной, больной женщине, с такой оравой. Она доходила буквально до грани отчаяния: чем прокормить-то нас, семерых? И не знаю, что было бы, если б не поддержка добрых людей, Советской власти. Нам выделили пособие, кое-какие продукты... Мама как бы очнулась, отошла душой, сумела дать нам и необходимое воспитание, и достаточное образование. Я, например, окончила Томский железнодорожный техникум...

Саша учился в школе № 19 (сейчас она № 32). И несмотря на тяжелое детство, был веселым, жизнерадостным мальчиком, любил шутку. Наш старший брат Николай руководил в то время духовым оркестром в клубе. Саша пристрастился к музыке, все время пропадал в клубе. Он хорошо играл на альти.

С раннего детства у Саши была еще одна страсть, которая со временем стала призванием. Сколько я помню, любимой его игрой были самодельные деревянные самолетики.

Когда в Тайге открылся аэроклуб, брат все свободное время проводил на учебном аэродроме. Помогал, ко-

гда разрешали, курсантам и инструкторам, с завистью следил за полетами. А дома — только и разговоров, что о виражах, «бочках», элеронах...

Однажды (ему только исполнилось восемнадцать лет) прибежал сияющий и с порога торжествующе крикнул: — Приняли! Сам летать скоро буду!

С тех пор покоя совсем не знал. Мы удивлялись, откуда у него берется столько энергии, неугомонности. Вечером после выступления оркестра еще на танцы останется в клубе, а утром в пять — на полеты, оттуда — в депо. Никогда не просыпал. Бывало, вскочит, глаза еще слипаются. «Саша, — скажу, — ты же вместо рубахи штаны на голову напяливаешь!» А Саша кусок хлеба схватит — и бегом: не опоздать бы...

Михаил Федосеевич Шатило, который вместе с Александром учился в Тайгинском аэроклубе и работал в паровозном депо, дополняет в своем письме рассказ сестры:

«Александр был энергичным, очень общительным парнем. Тяжела была курсантская жизнь и учеба, но он никогда не унывал и не сетовал на трудности. Теоретическая учеба ему давалась нелегко, а практика, полеты — очень свободно. Он одним из первых курсантов вылетел и освоил самолет.

Саша был очень аккуратным, подтянутым. Любил петь. В эскадрилье был первым запевалой. Вот таким хорошим человеком он мне помнится...»

Надежда Александровна показала письма Саши — листки, вырванные из ученических тетрадей, мелко исписанные то красными чернилами, то карандашом. В них — нежная забота о матери, сестрах, племянницах Эле и Лере. А о себе — скупое, без подробностей, с веселым озорством.

«В летной работе у меня никаких трудностей нет. Вот сейчас нахожусь

на отдыхе — и мне скучно без самолета. Он верный друг жизни».

В январе погиб на фронте старший брат Николай. Вот тогда-то и возобновил Саша настойчивые просьбы отправить его в действующую армию. Тогда же отправил жену, Любу, в Тайгу. Здесь она родила сына Володю. Когда Александра направили на фронт, он дал знать родным, просил принести малыша на вокзал. Но эшелон через Тайгу проследовал ночью. Так и не увидел отец своего сына...

В июне сорок четвертого Саша пишет:

«Был в командировке, вернулся, дали отпуск. Хотел к вам, домой — не разрешили, направили на курорт. Здоровье хорошее, питаемся хорошо. А после отдыха — опять за своего верного друга и в воздух, ревущим мотором разгонять облака...

Мама, обо мне не беспокойтесь. Скоро настанет час, когда мы все вместе будем сидеть за столом и вспоминать прошлое».

И в другом, адресованном сестре и ее дочуркам:

«Ты только представь себе, Надя, как я был доволен, когда увидел, что Эля уже может сама писать мне письма! Поцелуй Элю и Леру за меня, а когда я сам приеду, в долгу не останусь. Эля и Лера, ждите меня, я скоро вернусь!..

Всего доброго!»

Последнее письмо Александр отправил из Восточной Пруссии 1 января 1945 года, за шестнадцать дней до своей гибели:

«Мама, спешу сообщить, что живу хорошо, здоров. Правда, скучновато: работы нет сейчас из-за плохой погоды — дожди, туманы.

Мама, обо мне не беспокойся, я надеюсь, что скоро мы будем справлять вечер победы. Этот час недалек, скоро увидимся и опять будем жить в мирных условиях.

Мама, вы пишете, что все плачете и болеете обо мне. Не пужно, только зря расстраиваете себя. Верьте, мама, со мной ничего не случится.

...Как живут Люба с Володей? Я получил от них две фотокарточки. Конечно, мне сына очень хочется посмотреть. Какой он? Я его не могу представить даже по фотографии, какой он есть?

Целую Вас. Ваш Саша».

— А потом...— говорит, утирая слезы, Надежда Александровна,— когда пришло извещение о гибели Саши, мы просто не могли поверить этому. Мама слегла и больше уже не смогла подняться.

Товарищи Александра не забыли нас. Они переслали его вещи, часто писали нам. Как-то летом вдруг пришла девушка в армейской форме. Она объяснила, что служила с Сашей в одной части, и рассказала подробности последних дней его жизни. А вот письма комсорга части Иноземцева и фронтового друга Саши Константина Васильева.

«Ваш сын Александр,— писал комсорг,— был одним из лучших летчиков, который честно и добросовестно, мужественно и бесстрашно выполнял приказы Родины по разгрому ненавистного врага. На своем грозном штурмовике он не раз наводил страх на фашистов. Горя ненавистью к врагу, он предпочел героическую смерть позорному плену. Вы можете гордиться таким героем, каким был Ваш сын».

Константин Васильев, описав подробности Сашинного подвига, заканчивал письмо так:

«Это был настоящий коммунист и летчик-герой, который презирал смерть, очень любил жизнь. Его помнят у нас в полку и в соединении».

В 1946 году военком города Тайги передал Надежде Александровне (убитая горем мать уже умерла) на

вечное хранение орден Отечественной войны I степени № 187300, которым приказом командующего Первой воздушной армии от 30 мая 1945 года посмертно был награжден Александр Александрович Колядо.

— К тому времени Люба с сыном переехала в Москву. Володя, конечно, уж вот каким вырос,— вздыхает Надежда Александровна.— Очень жду встречи с ним, чтобы передать орден его отца. К сожалению, я давно, из-за переездов, не могу узнать адрес: у Любы сейчас другая фамилия...

Новые запросы, командировки...

Наконец, мы беседуем с Любовью Яковлевной Клиповой и ее сыном — Владимиром Колядо. Володя читает документы о подвиге отца, его последнее письмо молча, сосредоточенно. Капельки пота выступили на лбу. Ни он, ни мать не знали о посмертном ордене младшего лейтенанта Колядо.

Володя недавно демобилизовался из рядов Советской Армии, работал, учился заочно в институте. И вот что удивительно: службу он проходил в... Томске! Но ни он, ни Любовь Яковлевна не ведали, что Надежда Александровна тоже жила к тому времени там же!

Двадцать лет не виделись сын и вдова летчика с его сестрой. По обоюдному согласию их встреча состоялась в Красном зале редакции газеты «Труд». Надо ли говорить, насколько она была волнующей...

Приглашенный на встречу секретарь горкома комсомола Николай Свиридов рассказал, что в школе, где учился А. А. Колядо, оформлен посвященный ему памятный уголок. На здании школы установлена мемориальная доска.

Володя бережно держал на ладони отцовский орден, внимательно вглядываясь в него...

Н
ресов
ровск
в 194
и мо
честв
линг
комс
Гени
автор
удост
Союз
По
моей
рудни
низа
ления
СССР
ма пр
кома
адрес
сибир
Во-
выясн
не Ун
Герое
чится
лены
кома
Но
числе
прине
мом п
шен,
никак
одной
о Ста
минал
вается
Велик
ского
«В
шихся
да.— К
армии
ширит

ОДИН ИЗ ШЕСТНАДЦАТИ

Началось с того, что меня заинтересовал один абзац в отчете Кемеровского обкома ВЛКСМ, написанном в 1945 году, об участии комсомольцев и молодежи Кузбасса в Великой Отечественной войне. В числе героев Сталинградской битвы там назывался комсомолец из города Киселевска Геннадий Унжатов. По утверждению авторов отчета, он посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Поиск был трудным и долгим. По моей просьбе в нем участвовали сотрудники кемеровских областных организаций, Архива и Главного управления кадров Министерства Обороны СССР, Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Сузунского райкома партии Новосибирской области, адресных бюро Свердловской, Новосибирской и других областей.

Во-первых, удалось в конце концов выяснить, что фамилия комсомольца не Унжатов, а Унжаков и что в числе Героев Советского Союза он не значится. Таким образом, были исправлены сразу две ошибки в отчете обкома ВЛКСМ. Во-вторых...

Но прежде чем продолжить перечисление неожиданностей, которые принес поиск, надо рассказать о самом подвиге — то, что он был совершен, с самого начала не вызывало никакого сомнения. Пожалуй, нет ни одной книги, ни одного исследования о Сталинградской битве, где не упоминалось бы о нем. Вот как описывается он во втором томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза»:

«В результате упорных боев, длившихся с 22 по 28 августа (1942 года.— Ю. К.) войска 1-й гвардейской армии смогли лишь несколько расширить плацдарм и выйти на рубеж

М. Ярки, Осинки, Ближняя Перекопка, Хохлачев, Сиротинская. Командующий фронтом, не имея сил и средств для усиления армии, приказал ей 29 августа на достигнутом рубеже перейти к обороне.

В этих боях бессмертной славой покрыли себя шестнадцать гвардейцев 40-й гвардейской стрелковой дивизии.

...Бойцы... П. А. Бурдин, П. И. Бурдов, И. И. Гушин, А. С. Двоеглазов, Н. В. Докучаев, И. Н. Касьянов, В. А. Меркурьев, А. И. Пуховкин, М. И. Степаненко, Г. А. Унжаков, И. Н. Федосимов, Н. М. Федотовский, В. А. Чирков, Г. Ф. Штефан и М. А. Шуктомов во главе с младшим лейтенантом В. Д. Кочетковым получили приказ занять новую позицию на господствующей высоте у хутора Дубосеково (5 километров северо-западнее Сиротинской) и удерживать ее до подхода подкрепления (эта высота с отметкой 180,9 иначе называлась Казачьим курганом.—Ю. К.).

Вначале горсточка бойцов была атакована небольшим отрядом пехоты, а затем ротой гитлеровцев. Советские воины отбили пять атак. На рассвете следующего дня позицию гвардейцев атаковали 12 вражеских танков. Поединок продолжался несколько часов. И вот уже из 16 бойцов в живых осталось только четверо — Степаненко, Чирков, Шуктомов и тяжело раненный Кочетков. К этому времени уже были израсходованы все боеприпасы. Стремясь нанести врагу максимальные потери, герои со связками гранат бросились под танки. Когда подошло подкрепление, на склонах высоты пылали шесть подбитых танков. О подвиге своих товарищей успел рассказать умиравший от ран Кочетков. За образцовое выполнение задания командования и проявленные при этом

доблесть и мужество П. И. Бурдов, И. И. Гущин, Н. В. Докучаев, В. Д. Кочетков, В. А. Чирков и М. А. Шукотов 2 октября 1942 г. были посмертно награждены орденами Ленина, а остальные десять гвардейцев — орденами Красного Знамени».

Итак, герои ценой своей жизни выполнили приказ. Их подвиг очень созвучен подвигу двадцати восьми защитников Москвы в сорок первом году. Недаром под свежим впечатлением поэт-красноармеец Гр. Ясинский писал во фронтовой газете:

...На танки бросились герои-кочетковцы,
Покрылась пламенем фашистская броня...
И, как панфиловцы, погибли комсомольцы.
Гордись орлами, русская земля!

Причем, обратите внимание на интересное совпадение: панфиловцы остановили врага у разъезда Дубосеково, кочетковцы — у хутора Дубосеково. В рядах панфиловцев приняли исторический бой два кузбассовца — Николай Трофимов и Илларион Васильев, в цепи кочетковцев — кузбассовец Геннадий Унжаков. Но, как известно, из двадцати восьми трое оказались живыми, тяжело ранеными, в том числе и Васильев. А вот кочетковцы долгое время считались погибшими все. Об этом говорилось и в приказе командующего Донским фронтом К. К. Рокоссовского от 2 октября 1942 года, и в листовке, выпущенной тогда же Военным издательством Наркомата обороны СССР. Рассказ о бое на Казачьем кургане был в ней помещен под заголовком «Шестнадцать храбрецов преградили дорогу 12 немецким танкам и нескольким сотням гитлеровцев». Героям были посвящены опубликованные здесь же стихи неизвестного автора:

Прощайте, родные! Суровая доля
Вам, соколы, выпала в грозном бою.
Но вы не оставили бранного поля,
Вы приняли смерть за Отчизну свою.

Вы умерли честно, как русские люди.
Так спите спокойно под сенью знамен.
Отечество наше вовек не забудет
Шестнадцать великих
солдатских имен!

Нашлась в архивах и копия письма командира полка гвардии подполковника Семашко и заместителя командира по политчасти гвардии батальонного комиссара Ковтуна от 24 октября 1942 года:

«Дорогой Афанасий Унжаков!

...Шестнадцать гвардейцев показали всем нам, участникам битвы под Сталинградом, что значит презирать смерть ради победы над врагом, что значит быть честным гражданином Советской страны.

Мы гордимся Вашим сыном. Он защищал страну, жизнь, боролся за нее.

Тяжела потеря для Вас, она также нелегка и для нас, гвардейцев, бойцов, командиров, политработников части. За смерть Вашего сына мы поклялись жестоко отомстить коварному врагу.

Недалек тот час, когда фашистские изверги будут изгнаны навеки с нашей земли и мы снова увидим нашу прекрасную, замечательную жизнь, будем праздновать день нашей Победы. Могилы павших бойцов, защитников Родины, напомнят новому поколению о минувших битвах.

Мы, гвардейцы, склоняя свои боевые знамена перед их прахом, клянемся: «Ни шагу назад с занимаемого нами участка фронта, вперед на запад до полного изгнания и уничтожения фашистских людоедов!»

Павшие своим мужеством вели в бой живых...

Шли годы. И вот в газете «Советская Россия» появилась заметка о том, что работники Волгоградского музея обороны города разыскали одного из героев — Павла Александровича Бурдина. Во время того знамена-

тельно
его бе
ры сос
годы
началь
из ура.

А м
жаков?

И сн
Тепе

Афана
июля 1

бирско
Афана

новна,
Кузбас

Геннад
школе

сюда б
ван в р

Хоро
надчат

ему ед
навечно

Отечест

В бо

получи

го был

бито п

Бурдин

комые

питаль

сутки,

хватили

Внач

ских во

в Милл

кто хот

вили в

распола

заставл

и в шах

Но с

участью

на ран

рану и

бежал,

стороне

тельного боя он был тяжело ранен, и его без сознания подобрали санитары соседней части. В послевоенные годы Павел Александрович работал начальником кузнечного цеха одного из уральских заводов.

А может... Может и Геннадий Унжаков?..

И снова поиск...

Теперь мы знаем, что Геннадий Афанасьевич Унжаков родился 18 июля 1923 года в селе Сузун Новосибирской области. Потом родители его, Афанасий Алексеевич и Татьяна Ивановна, вместе с детьми переехали в Кузбасс, в город Киселевск. Здесь Геннадий окончил девять классов в школе № 14, вступил в комсомол. Отсюда 6 октября 1941 года был призван в ряды Советской Армии.

Хорошо воевал сибиряк, в восемнадцать лет стал сержантом. А когда ему едва сравнялось девятнадцать — навечно вошел в историю Великой Отечественной войны.

В бою за Казачий курган Геннадий получил пять тяжелых ранений. У него был разорван осколком бок, разбито плечо, прострелены ноги. Как и Бурдина, Геннадия подобрали незнакомые санитары и отправили в госпиталь. Он очнулся там на шестые сутки, но в это время госпиталь захватили гитлеровцы...

Вначале пленных раненых советских воинов содержали в концлагерях в Миллерово и Житомире. Потом тех, кто хоть немного поправился, отправили в Германию, в лагерь 812, что располагался у Саарбрюккена. Их заставляли работать в каменоломнях и в шахте.

Но сибиряк не мог смириться с участью фашистского раба. Несмотря на раны, истощение, на строгую охрану и угрозу расстрела, он дважды бежал, однако далеко уйти в чужой стороне не мог. Его ловили, избивали,

пытали и снова бросали в лагерь. Поистине только богатырский, закаленный организм, вера в жизнь, в победу помогли ему стойко пройти через все испытания.

Когда 20 марта 1945 года американские войска освободили лагерь, Геннадий весил всего 34 килограмма...

Через несколько месяцев он вернулся на родину. Работал в Донбассе, затем в Кузбассе — на шахте № 3 (ныне № 13) в Киселевске, потом в Кемерове на шахте «Бутовская».

Вскоре Геннадий Афанасьевич переехал в Свердловскую область. Там честный, добросовестный труд моториста Афанасьевского леспромхоза не раз отмечался премиями, почетными грамотами обкома КПСС и облисполкома. Там героя и нашла его боевая награда — орден Красного Знамени. А он, будучи человеком очень скромным, редко и скупно рассказывал о совершенном подвиге, о горькой тяжести перенесенного в фашистских концлагерях.

И тут снова обрывалась нить долгих поисков: все письма, запросы в Свердловскую область оставались без ответа. Лишь в шестьдесят пятом году удалось выяснить, что из леспромхоза Геннадий Афанасьевич вместе с комсомольцами-добровольцами уехал на целину и последнее время работал учетчиком в зерносовхозе «Шуйский» — в селе Макеевка Атбассарского района Целиноградской области.

Но слишком поздно узнали мы об этом. Слишком поздно...

В 1964 году герой Сталинградской битвы Геннадий Афанасьевич Унжаков скончался безвременно в селе Макеевка. Сказались старые раны, годы плена...

Далеко от родного Кузбасса скромная могила солдата, до конца исполнившего долг перед людьми, перед жизнью. С весны до осени цветут на

ней гвоздики и хризантемы. Семена их прислали комсомольцы и пионеры Кемерова и Киселевска, а посадили учащиеся Макеевской школы.

В Киселевске по улице имени Геннадия Унжакова каждый день идут на подземную трудовую вахту горняки. И это лучшая память о земляке.

КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНОЙ ВОСЬМЕРКИ

21 февраля 1942 года сотни эсэсовцев окружили поселок Ореховка, что стоял на возвышенности, рядом с деревней Комаровка, у опушки леса. По доносу начальника местной полиции Шаткина они знали, что здесь расположились на отдых партизаны — именно тот отчаянный отряд, который доставлял гитлеровцам немало беспокойства и который они никак не могли выследить и уничтожить.

А тем временем смельчаки, известные жителями-патриотами о приближении карателей, расположились в двух домах напротив друг друга, через единственную улицу поселка, и изготовились к бою.

Эсэсовцы двинулись со всех сторон. Но два партизанских пулемета, автоматы, винтовки встретили их таким метким, таким плотным огнем, что наступавшие тут же откатились назад. Началась перестрелка. Немцы, обстреливая партизан, невольно били и по своим на противоположной стороне поселка — как и задумал командир отряда, организуя оборону.

Вторая атака. Третья... Шестая...

Уже стемнело. А бой не утихает. У осажденных иссякли патроны. Загорелся сарай, где укрепились одна из групп. По шлейфу дыма от пожара смельчаки кинулись к лесу. Один, раненый, тут же упал. Но и лежа продолжал стрелять, пока не загорелся. Еще троих скосила вражеская очередь в конце огорода.

А трое из соседнего дома вырвались из огненного кольца. Гитлеровцы не стали их преследовать — понима-

ли, что в лесу ночью их не поймать.

В это время со стороны деревни Прусин показался обоз с подкреплением карателям. И вдруг с опушки по нему ударили три партизанских автомата! Они били всего с каких-нибудь 15 метров и так густо и точно, что немцы и полицаны, теряя убитых и раненых, разбежались.

Это произошло 21 февраля 1942 года недалеко от белорусского города Кричева. Семеро героев с полудня до вечера сдерживали натиск в десятки раз превосходящего врага и уложили более 80 карателей! Об этом бое долгое время ходили легенды по белорусским деревням...

А гитлеровское командование, ошеломленное и обозленное результатами невероятной схватки, приказало сжечь хаты, где прятались партизаны, запретило хоронить погибших героев и объявило неограниченную награду за головы оставшихся в живых членов отряда. Только к весне староста деревни, активный помощник партизан Семен Вайлунов захоронил-таки останки командира легендарного отряда и его боевых товарищей.

Кто же были эти бесстрашные воины и патриоты?

В результате упорных поисков активистов и сотрудников Кричевского краеведческого музея удалось установить, что с лета 1941 года на Витебщине, в Быховском, Чаусском и Чериковском районах Могилевской области действовал отряд из попавших в окружение воинов Красной Армии под командованием батальонного комисса-

Ген-
ут на
няки.
е.

мать,
евни
епле-
ушки
нских
аких-
точ-
уби-

2 го-
рода
я до
сятки
жили
дол-
бело-

оше-
тата-
азало
заны,
героев
граду
тепов
а де-
тизан
-таки
о от-

вои-

з ак-
ского
стано-
итеб-
Нери-
ласти
в ок-
под
исса-

ра Анатолия Ивановича Павлова. В отряде сначала было 32 человека, в основном командиры и политработники. Они совершили немало смелых диверсий на железной и шоссейных дорогах, уничтожая живую силу, транспорты с оружием и боеприпасами.

В конце 1941 года основная часть отряда ушла к линии фронта, чтобы вновь влиться в ряды действующей армии. Партизанить остались восемь человек во главе с заместителем командира по боевой части Анатолием Александровичем Гришиным. Восьмерка отважных, переходя от деревни к деревне, из одного леса в другой, подрывала на минах фашистские автомашины, уничтожала предателей и карателей, вселяя в советских людей веру в грядущую победу.

Есть сведения, что из легендарной восьмерки один — Михаил Ермаков — остался в живых, закончил войну в Берлине, потом жил в Ульяновской области. Но дальше его следы затерялись. А кто же такой Анатолий Гришин, командир этого маленького дерзкого отряда?

Д. Ф. Шереметова, одно время скрывавшая тяжело раненного в бою у деревни Костюковка Анатолия, вспоминала, что он по национальности татарин, мать его якобы учительница, ее имя Раиса, а имя девушки, с которой он дружил до войны, — Люба. Любимая песня Анатолия — «Любушка-голубушка». В 1938 году Анатолий окончил военное училище в Ленинграде, которое он называл краснознаменным.

Был он среднего роста, крепкий, жизнерадостный, знал несколько язы-

ков. Никто никогда не видел его злым. Он очень хорошо относился к людям.

А вот что писал В. Т. Трубников, тоже бывший окруженец, ставший затем партизанским разведчиком:

«Толика-татарина я знал лично. Лет 20—22-х стройный, подтянутый юноша с правильными чертами лица, я бы сказал, красивыми, смуглый, чуть выше среднего роста, с очень умными живыми черными глазами. Уныния он никогда не знал, страстно верил в нашу победу. Если не изменяет мне память, он лейтенант Красной Армии. С его группой я познакомился в августе 1941 года, вскоре после того как он убил немецкого офицера, ехавшего в автомашине... Группа была хорошо вооружена, в том числе и немецким оружием. В окрестных деревнях у них появились свои люди. Группа проводила диверсионную работу...»

И, наконец, свидетельство Григория Ивановича Старухина, члена этого отряда первого периода, перешедшего затем линию фронта, воевавшего в рядах армии и после войны жившего в городе Вольске Саратовской области. По его словам, Анатолий Александрович Гришин был до войны слесарем-железнодорожником, он выходец из села возле города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Служил и воевал в первые дни войны в составе 19-й армии, в районе Витебска.

Вот все, что мы знаем о погибшем герое-партизане. Все попытки узнать что-либо большее о нем пока оказались тщетными. Но разве подвиг и его, и его боевых друзей может быть предан забвению?

НОЧЬ ДЛИННОЙ В КИЛОМЕТР

Утром — ранний звонок по телефону. Знакомый глуховатый голос Василия Борисовича Афонина, в то вре-

мя Кемеровского областного военного комиссара:

— Невероятно! Нашелся, наконец,

герой-однopolчанин, наш кузбасский Юрий Смирнов. Сколько его искали, а он — в Белове живет, только что мне доложили. Поедешь со мной? Тогда завтра в десять ноль-ноль будь готов...

У палисадника конторы отдела технического снабжения тогдашнего треста «Беловоуголь» машины остановились. Из первой вышел грузный сидящий генерал, поздоровался со встречающими, нетерпеливо спросил:

— Где же он?

Ему не успели ответить. От распахнутых складских ворот торопился сухошавый, невысокого роста, совсем невидный собой мужчина в простеньком пиджаке и видавшей всякое кепчонке. Но вот он неожиданно перешел на солдатский строевой шаг, весь подтянулся — сразу стал вроде и ростом выше, и плечами шире. Остановился, как в Уставе записано, — руки по швам:

— Товарищ майор... Виноват, товарищ гвардии генерал-майор... — и не мог больше сдержаться, заплакал глухо, навзрыд.

— Здравствуйте, дорогой мой Дмитрий Алексеевич, — генерал шагнул навстречу, и они крепко обнялись.

Взволнованные стояли, наблюдая эту трогательную встречу, рабочие и руководители отдела — сами бывшие фронтовики, офицеры горвоенкомата, журналисты. Прислушивались к рассказам, которым, казалось, не будет конца. Бывший солдат и его фронтовой командир вспоминали дни минувшие, бои, товарищей дорогих.

Беседа продолжилась в конторе отдела, а закончилась к полуночи в маленьком домике на Первой Гаражной улице. Генерал и солдат говорили и говорили о родном полке, о живых и погибших, о подвиге восемнадцатилетнего парнишки, гвардии старшего сержанта Дмитрия Мартыанова.

...Шел июль сорок третьего. Орлов-

ско-Курская дуга. Яростные, отчаянные атаки «тигров», «пантер» и прочей бронированной фашистской техники. Бесперывный, слившийся воедино грохот разрывов, вой снарядов, сухая молоточная дробь пулеметов и автоматов. Дым, пламя застилают горизонт. Нечем дышать от гарн. Все перемешалось. Деревни, высоты, окопы переходили из рук в руки.

Но было уже совершенно очевидно: «колоссальный удар... советским войскам, который... должен потрясти их до основания», как планировал Гитлер, не удался. Уже понимая, что вместо колоссального удара их ждет колоссальное поражение, фашисты пытались утопить отчаяние в море огня и бесплодных, но ожесточенных атаках.

Гвардейский полк майора Афонина вторые сутки подряд вел тяжелые скоротечные бои с танковыми десантами врага. Командира беспокоило, какими резервами располагают гитлеровцы, где их опорные пункты, огневые точки. Без точного знания этого нельзя было рассчитывать на успех контраступления.

В полдень 22 июля старшего сержанта Мартыанова вызвали к командиру батальона, тоже сибиряку Григорию Гридасову.

— Вот что, земляк, — начал тот безо всяких предисловий. — Бери взвод и двигайся к деревне Сырпово. Вот сюда, юго-восточнее Триречного, к роще. Ведешь разведку боем. Знаю, туго будет. Очень туго. Но нам надо знать, где они, сколько их и что они задумали. Заставишь их раскрыть карты. Любой ценой! В этом — жизнь полка. Справишься? Нельзя, браток, не справиться...

Комбат хорошо знал Мартыанова и верил ему. Ничего, что парню едва восемнадцать стукнуло, что ростом в богатыри не вышел. Зато смел, решителен, смекалист. К тому же успел

повоевать в Сталинграде, в прославленной дивизии Родимцева. Был там ранен, представлен к награде. А Сталинград — лучшая аттестация для солдата...

К четырнадцати ноль-ноль взвод Мартянова, ведя беглый автоматный огонь, выдвинулся к опушке роши и рассредоточился. Мартянов едва успевал следить за ходом боя. Отдавал короткие приказания, стрелял из автомата и упорно, сквозь хаос взрывов и посвист пуль, продвигался вперед, не забывая примечать, что к чему.

Неожиданно из-за деревни появились танки с десантом автоматчиков на броне. С ревом поползли они на взвод, который не успел еще закрепиться. У старшего сержанта перехватило дыхание: беда! Не дать танкам пройти, успеть закрепиться — этому были подчинены все помыслы.

Мартянов, уже не пригибаясь, побежал вперед, к брошенному вражескому окопу, где обосновался наш пулеметный расчет. До него оставалось каких-нибудь полтора-два метра, когда рядом рванула мина. Автомат выбило из рук, разнесло в щепы. От острой боли в руке и ноге потемнело в глазах. Мартянов упал, но, собрав силы, дотянулся до окопа и прямо-таки свалился к пулемету. Первый номер лежал, уткнувшись в бруствер, естественно откинув похолодевшую руку. Второй — молоденький солдат из недавнего пополнения — помог старшему сержанту пристроиться поудобнее, спросил участливо:

— Перевязать?

— Потом... Готовься автоматчиков встречать...

Стальная машина «тигра» надвигалась все ближе. Мартянов действовал почти автоматически. Не мельтеши, говорил он сам себе, больше выдержки! Пусть подойдет поближе... Так, нормально! Теперь гранатой, под гусеницы... Подвела ослабевшая ра-

ная рука, не докинул метра на полтора. Второй бросок. «Тигр» словно споткнулся, кивнул стволом, замер.

— Бей по автоматчикам! — крикнул Мартянов солдату.

Гитлеровцы побежали назад, беспорядочно отстреливаясь.

Мартянов облегченно вздохнул. И тут снова рядом разорвалась мина. Затих навсегда помощник-солдат, а Мартянов так и не узнал его имени...

Он в окопе один. Две гранаты, патроны на исходе. Перевязался кое-как, чтобы хоть кровь остановить... Надо держаться. Держаться во что бы то ни стало. Приказ есть приказ. Его выполнять надо. Только комсомольский билет спрятать вот сюда, в сапог. На всякий случай...

И снова на окоп накатывается «тигр» с десантом. Подпустив его поближе, Мартянов швырнул гранату. Немеющая рука с трудом подчинилась ему. Танк развернулся на месте. Готов и этот! Автоматчики, соскочив с брони, кинулись к окопу. Последнюю гранату Дмитрий бросил в них.

А дальше... Дальше все — как в кошмарном сне. Его скрутили, поволокли к огородам на краю деревни.

В блиндаже — четверо: офицер, унтер и два полицая. Это было горше всего: предатели, как они еще слава-то наши, русские, выговаривают!

Прислонили к стенке, чтоб не упал. Офицер торопился, нервничал:

— Какой части? Где ваши танки? Сколько? Говори!

Стиснув зубы, Мартянов исподлобья глянул на него, отвернулся. Прикладом ударили по голове.

Очнулся — кровь застилает глаза. И снова:

— Отвечай! Будешь говорить, в госпиталь отправим, перевежем, жить будешь. Отвечай!

А Мартянов уже словно и не видел этих четверых, не слышал визгливого:

— Отвечай!

Все как в вязком тумане. Отстраненность какая-то. И боль во всем теле...

Кто знает, что передумал за тяжкие эти минуты старший сержант. Может, вспомнил, как буквально вчера земляк, Михаил Суворов из Верхотомки, что под Кемерово, на его глазах закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота у Кочетовки, чтобы спасти жизнь товарищам?

А может, встали перед его глазами горящие избы этой самой Кочетовки, которая трижды переходила из рук в руки и которую потом будут поминать в каждом учебном пособии по истории Великой Отечественной?

Или снова звучали в его ушах испуганный детский плач и тоненький голосок, полный отчаяния, когда Мартьянов с разведчиками постучал среди ночи в окно уцелевшей избышки:

— Мама, опять немцы! Я боюсь, мама...

Или вспомнил на миг родную шахту имени Кирова в Ленинске-Кузнецком, где совсем зеленым пацаном начинал слесарить, откуда в сорок втором ушел в пулеметное училище, а потом на фронт, в горящий, но не сломленный город на Волге? Кто знает... И сам он через много лет не мог вспомнить, о чем думал. А вот что чувствовал, помнил ясно. Главное — горько, обидно было. Только начал жить, только по-настоящему взрослым стал — и вот он, конец. И злость упрямая: «Ну, нет, гады! Раз умирать, так уж честно, как и все, что делал до сих пор».

Разжал зубы, выдавил из себя как мог спокойнее, словно давно решенное, само собой разумеющееся:

— Делайте, что хотите, ничего не скажу...

Боль стучит в виски, рвет на части руку и ногу. Сколько продолжается

допрос? Час? Два? Уже темнеет на дворе. Все тише гул боя.

Наконец офицер не выдерживает:

— Рус — капут!

Полицай вскинул винтовку. Штык вонзился глубоко в бок. Потом второй раз. Молчать, только молчать, Митя! Ни звука!

Подхватили безжизненного, обмякшего, раскачали и вышвырнули из блиндажа. Грязно ругаясь, кинули вслед гранату. Взрывная волна резко толкнула, осколки впелись в ногу и спину — и Мартьянов потерял сознание.

Пришел в себя, когда ночь укутала небо и дымящуюся землю чистым звездным покрывалом. Тело била мелкая дрожь. Холодно, как в могиле. Пить хочется...

Где он? Почему один, в бурьяне? И вдруг сразу вспомнилось все. Но главное — жив все-таки! Жив! Попробовал — ноги, руки шевелятся! Фашистов не слышно. Надо выбираться к своим. Ползти. Но куда? Где они, свои?

Огляделся. На поле, ближе к горизонту, горбились мертвые силуэты танков: наверняка его работа, а стволы, конечно же, повернуты в нашу сторону. Значит, туда и его путь.

Рывком поднялся и снова чуть не потерял сознание: дышать нечем, из груди сочится что-то липкое и теплое... Зажал больной рукой раны в боку, пополз. Шаг, еще полшага. Подтянуть раненую ногу, переставить локоть. Вот так. Ничего, мы еще повоюем!

Ночь длиною в километр. Помогли солдату, темная, родная русская ночь, не выдай!

Овраг. А вот и траншея. Скатился в нее, едва сдержав крик от боли. Отдышался. Как же теперь выбраться отсюда? Долго полз, пока не нашел выступ бруствера, развороченный снарядом. Нет, путь от Волги до Курской дуги был, наверное, для него короче,

чем этот. Всего ведь какая-нибудь тысяча метров, а вот уж и небо на востоке сереет... Еще усилие, еще...

И вдруг впереди — родная речь! Братцы, дорогие! Теперь он уже не боялся застонать. И какое же счастье услышать знакомый голос комбата Гридасова:

— Народ, кажется, Мартянов приполз!

Успел рассказать, как мог, что случилось, попросил достать из сапога комсомольский билет. Успел узнать горькую правду: из тридцати семи бойцов взвода он один остался в живых. Но приказ был выполнен.

...Потом госпитали, операции.

Долго не мог привыкнуть к новому «званию» — инвалид войны. Не довелось идти с родным полком дальше, освобождая Украину, форсируя Днепр. Не брал старший сержант Вены, не дрался у озера Балатон. Даже знак нагрудный «Гвардия» затерялся в скитаниях по госпиталям.

Но нет, солдат остался на посту — на мирном, рабочем посту. Разве можно его, даже израненного, даже после его «смерти», списать по чистой, в нестроевые?

Больше десятка лет знали в отделе технического снабжения треста «Беловуголь» грузчика Мартянова. Работал без скидок на здоровье и возраст: побольше сделать, поменьше покурить. Но если бы кому-нибудь из сотрудников отдела сказали, что этот ничем не примечательный внешне рабочий, болезненный (старые раны в архив не сдать), щуплый, малоразговорчивый — настоящий герой минувшей войны, совершивший невероятный подвиг, не поверили бы наверняка. Дмитрий Алексеевич никому не рассказывал о той страшной июльской ночи сорок третьего года. Зачем? Каждый солдат принимал присягу. А в ней все сказано. И только жене да

дочери, когда в комсомол вступала, поведал, что и как с ним было.

Не знал Дмитрий Алексеевич, не ведал, что в летописи боевого пути гвардейского полка есть страница, посвященная его подвигу. Не читал стихи майора А. Валежнина «Слово о Мартянове», написанные под свежим впечатлением о мужестве и стойкости юного воина и напечатанные тогда же во фронтовой газете:

...С его лица стекала кровь.

Но взгляд был пристальным и смелым.

И офицер, нахмура бровь,

Достал блестящий парабеллум.

— Ты очень молод. Хочешь жить?

Так говори, какой ты части...

— В советской гвардии служить, —

Ответил он, — имею счастье!

— Где ваша часть? — Его виска

Коснулось дуло пистолета...

— Гвардейцы нашего полка

Вас гонят по пятам все лето!

Они вблизи и за меня

Сумеют отомстить сурово.

Пытайте! Вешайте! Но я

Вам больше не скажу ни слова...

Враги гвардейца сбили с ног,

Рыча, вывертывали руки,

Вонзили в грудь ему клинок,

Но он без стоа вынес муки...

Был верен клятве патриот.

Он до конца остался стоек...

В великой битве наш народ

Отважных вырастил героев.

Не знал Дмитрий Алексеевич и того, что новое поколение воинов давно разыскивает героя, что, наконец, прислали они письмо бывшему своему командиру Василию Борисовичу Афонину с просьбой помочь найти старшего сержанта. Не ожидал и сам Василий Борисович, что Мартянов живет по-прежнему здесь, в Кузбассе, только не в Ленинске-Кузнецком, откуда призывался, а в соседнем городе Белово.

И вот эта встреча через четверть века. Генерал, отложив все дела, тотчас приехал к своему сослуживцу. А через несколько дней горвоенком вручил Дмитрию Алексеевичу Мартяно-

ву гвардейский знак — дорогой подарок бывшего командира.

В архиве тогдашнего Министерства обороны СССР отыскалось донесение начальника политотдела дивизии от 24 июля 1943 года, в котором рассказывается о подвиге сибиряка и отмечается, что «член ВЛКСМ Мартыянов Дмитрий Алексеевич мужественно дрался с немецкими захватчиками и всегда находился впереди подразделений, воодушевлял всех силой личного примера»...

А вот одно из многих писем молодых солдат, полученных им после встречи с генералом.

«Дорогой Дмитрий Алексеевич!

Мы, войны-комсомольцы гвардейской части, сегодня пришли на собрание, повестка дня которого гласит: «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими». А накануне получили от генерала Василия Борисовича Афонина письмо с вырезкой из газеты «Кузбасс» о Вашей встрече с ним.

С большим волнением читали мы

на собрании сообщение о Вашем подвиге. Для нас Вы пример и к тому же отец, такой же родной и близкий, как наши, воевавшие в ту пору с гитлеровскими захватчиками во имя нашего счастья и светлого будущего. Примите от нас, от сыновей Ваших, самые горячие поздравления, наше солдатское спасибо за гвардейские доблесть и мужество в борьбе...

Мы заверяем Вас, нашего героя-фронтовика, что с радостью принимаем от Вас эстафету и будем достойны своих отцов, будем славными делами крепить звание комсомольца»...

Годы, годы... Нет уже с нами Дмитрия Алексеевича и Василия Борисовича. Нет в армии комсомольских организаций. Много чего не стало... Но есть еще Российские Вооруженные части, гвардейские в том числе. Служат уже внуки и правнуки фронтовиков Великой Отечественной. И дай только бог, чтобы не посрамили они чистого святого их подвига.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

21 сентября 1942 г.

Дорогая моя, прими от меня фронтовой привет и горячий поцелуй. Сообщаю, что я жив и здоров, вернулся благополучно...

Федор

28 сентября 1942 г.

Товарищ Забродина!

Прискорбно сообщая, что ваш муж убит. Сейчас посылаю отыскать его на поле битвы. Он ко мне недавно прибыл, и вот — ушел... Посылаю ваши карточки. У него был готовый конверт с надписанным адресом, я его использовал.

Старший лейтенант Сортаков Н. Д.

5 октября 1942 г.

...Кто работает — трудитесь, кто учится — учитесь не покладая рук и не жалея сил. От этого нам будет легче бить фашистов. Труд ваш на пользу всей Красной Армии. Он не пропадет даром...

Афанасий

Вениамин Власов

ИЗ ФРОНТОВЫХ БУДНЕЙ



ОБОРВАННАЯ ТИШИНА

Ошалев от огневой бури, вся лесная округа притихла. Замолчали надоевшие шипением над израненными кронами вековых сосен мины. Перестали шелкать за нашими спинами тысячи разрывных пуль «дум-дум».

Пришла тишина, которую сейчас не позволено нарушать никому. Каждый уцелевший солдат распластался в своем разбитом окопчике, закрыв утомленные от нечеловеческого напряжения глаза, молчал. Не хотелось даже пожевать сухарик.

Облокотившись на бровку траншеи, вытянув отекавшие от неимоверной усталости ноги, я вроде отключился от всего, что происходило в течение минувшего дня.

— Ты, старшина, ёшь-клёшь, — запыхавшимся голосом выбил из приятного состояния неслышно появившийся командир роты Перепеч, — рано устроился отдыхать. Так не пойдет. Нам поставлена задача продержаться до подхода замены.

Лейтенант присел рядышком со мной, закурил:

— Знаешь, у твоего соседа один вояка из недавних пополненьцев, — нервничая, глубоко затянулся дымом, — на ту сторону уполз. Что будет теперь? Ты не можешь сказать? Наговорит, поди, там, что нас здесь всего-то кот наплакал.

Мне нужно было зайти в каждое отделение, рассказать о сложившейся критической обстановке. Первым, с кем поговорил, был солдат Пулин.

— Командир, фрицы что-то задумали, — опередил он меня. — Я хорошо слышу какие-то команды, перегруппировку. Нам запрещено стрелять, а они совсем стали нахальными. Глядишь, и в гости завалятся.

— Да, ты прав, — отвечал я. — Нам не стоит пока дразнить фрицев. Пусть они обманываются. Если нужно будет, мы встретим мощным огнем. — Я сделал паузу. Посмотрел на установленный в амбразуре, выложенной из дерева, ручной пулемет. — Твой «дегтарь» в порядке?

— Да, запасные набил патронами, — показал он аккуратно уложенные сбorkу окопа еще три диска. — Жалко, что саперы не успели заминировать подходы к нам, не перебросили колючей проволоки...

Пулин блеснул глазами:

— Боюсь, как бы они нас к утру не передушили, как щенят.

— Ты это брось, — построжился я. — Приказываю быть наготове, отразить любое нападение противника.

«Откуда такое настроение у Пулина? — задавал потом я сам себе вопрос. — Может, тоже наострил ког-

ти?...»—и мне пришел на память недавний разговор с ним.

Его долго не пускали на фронт, как сына «врага народа».

— Отца арестовали в 1937 году,— рассказывал мне солдат.— Но я не верю, что он— вредитель. Отец был инженером-строителем, добрым человеком.

Пристроился я в своем лежбище, и мысль гложет: «Кто знает, что сейчас на уме у этого солдата? Возьмет да и сиганет к фрицам! Там его пожалеют, подогреют: «Ты мстить обязан за отца!...»

«Враг народа»? Мне живо вспомнились школьные годы...

...Преподаватель географии Михаил Васильевич Соколов, пожилой человек, еще сохранил выправку бравого моряка. Нас он притягивал, точно магнитом. Мы заслушивались на уроках его экзотическими воспоминаниями, рассказами о заморских странах, о жизни, обычаях не похожих на нас людей.

Но он всегда убеждал нас любить Россию, Отчизну, наш добрый героический народ.

Мы знали также, что Михаил Васильевич участвовал в Октябрьской революции.

И все мы не могли поверить, когда его в 1937 году объявили врагом народа. Поразил ребячьи души сам момент ареста учителя. Беспочтительно вошли в класс во время занятий двое в военной форме и грубо приказали учителю следовать за ними. Он, оторопевший, бормотал, что это недоразумение, а его глаза говорили нам: «Всё образуется, ребята. Будьте умниками...»

Погруженный в грустные воспоминания не о таком уж далеком прошлом, я не заметил, как наступила темнота. Тянуло в сон. Ничего удивительного: ведь я толком не спал уже которую ночь кряду.

Нельзя позволить глазам закрыться. Я пересиливал, как мог, свою мальчишескую слабость, внушал себе, что не должен выпускать из поля зрения расположившегося в десяти метрах от меня рядового Пулина. Кто знает, что у него на уме, а я, командир, за него в ответе.

Вдруг его огромная тень метнулась за дерево. По моей спине пробежал мороз: «Неужели?...» Я передернул затвор автомата, готовый броситься следом за ним. Но тот уже снова был на месте. Я успокоился и опять на меня навалилась дремота. Скорее бы явилась смена! Как хорошо было бы перебраться в прифронтовой лес, чтобы немножко передохнуть.

«Только не спать!—досаждала надоедливая мысль.— Пулин вон какой верзила! Огреет по голове, ухватит в охапку меня вместе со всей амуницией и упрет к беззаботно дрыхнувшему фрицам...» С силой встряхнул себя, еще пристальней вгляделся уставшими глазами в темноту, где в своем окопчике притулился злополучный Пулин.

...Наплывали новые воспоминания все о том же тридцать седьмом... Как часто мы злоупотребляли добротой преподавателя немецкого языка Филиппа Филипповича Трейблюда! И не очень-то прилежно занимались изучением чужого языка. А ведь как теперь бы это пригодилось! Тут же нас научили лишь одному: хэнде хох!

Он тоже стал «врагом народа», наверное, из-за своей иностранной фамилии. О нем говорили, что он немецкий шпион. Проходили шумные собрания. Помню на одном крикун из местных активистов надсаждался: «Мы из этих диверсантов выпустим кишки! Поклянемся всегда беречь свою страну, как синица окуня!»

...Затрещали под тяжелыми сапогами ветки. Это пришла смена... С немецкой стороны застрочили пулеметы,

повисли над лесом осветительные ракеты.

Мы уходили спешно, не оглядываясь назад.

Вот она — широкая просека. Совсем рядом наше новое временное пристанище. Совершим затем марш-бросок к Волхову на отдых и доформирование. Неудивительно, уже сейчас все как-то расслабилось. Расплата за это не заставила долго ждать. Над нашими головами неистово завизжали вражеские тяжелые мины.

Пулин в какие-то доли секунды сшиб меня в канаву, заполненную водой. Сам же подставил свое могучее тело под град раскаленных осколков. Ошарашенный от взрывов, мокрый, я

подскочил к поврежденному солдату. Он жадно смотрел на меня, и крупные слезы катились по его обожженному порохом лицу. Он, задыхаясь, хрипел: «Напишите маме...»

Подбежали санитары. Уложили на плащ-палатку Пулина и скрылись в березняке.

Так оборвалась утомительная ночная тишина, принесшая мне столько горьких воспоминаний, тревог, тишина, закончившаяся так трагично для солдата Пулина. Он спас меня, своего командира от гибели. А я даже имени его не запомнил. И оскорбил его своим нелепым подозрением. Стыдно. Стыдно и больно...

ФРОНТОВЫЕ СЮРПРИЗЫ

«Агитаторов - громкоговорителей» — так мы себя называли в шутку — собрали в штабе полка. Был короткий инструктаж. Потом раздали прокламации, в которых говорилось, что пролетарии Германии не могут быть врагами нам, советским рабочим, и поэтому им следует перейти на нашу сторону, где для них будут созданы хорошие условия жизни... Каждому агитатору вручили конусообразную жестяную трубу, и завтра мы должны выйти, скорее всего выползти, на нейтральную полосу, закопаться там как можно глубже и приступить к чтению обращения к сегодняшним нашим злейшим врагам.

Конечно же, каждый из агитаторов имел десятилетку и мог более-менее бегло читать по-немецки.

...Задолго до восхода солнца меня снарядили гранатами, едой, малой лопаткой. Саперы уже успели прорезать лазейку в проволочном заграждении, разминировать тропку, обставив ее вешками, пожелали ни пуха... Ребята из родной роты заверили, что

мое местопребывание добротнo пристреляно и будет под неусыпным наблюдением.

Обосновался я в мелком кустарнике, на небольшой высотке. Пришлось долго окапываться, маскироваться дерном, ветками.

За работой не заметил, что давно рассвело. Начинаясь майский день. И тут моему взору представились, будто на ладони, появляющиеся в окопах и траншеях немцы. Да столько же их! Вижу, как один забрался на блиндаж, снял нижнюю рубашку и выскивает вшей. «Э,—думаю,—и вас не обошли стороной паразиты...»

Пришло время приступить к работе. Вынул из кармана гимнастерки листок с заветным текстом, уложил в амбразуру бруствера своего окопа трубу, собрался с духом и срывающимся от волнения голосом начал:

— Геноссе зольдатен!..

Прокричав весь текст, вдруг сам испугался наступившей тишины. Все, казалось, замерло вокруг. Немцы, ошарашенные, должно быть, неслы-

ханной дерзостью русских, а наши — от напряженного ожидания: что будет дальше?

Произошло то, чего и следовало ожидать. На мою особу обрушился шквальный огонь буквально из всех видов стрелкового оружия.

Затем так же резко, как и началась эта вакханалия, все умолкло. Наступила продолжительная тишина. Лишь изредка стрекотали пулеметы, да и то далеко, на правом фланге.

Во второй половине дня я еще раз прокричал текст прокламации. На той стороне с вниманием выслушали мою безупречную немецкую тираду, потом посмеялись, постреляли и утихли.

С наступлением вечерних сумерек я оставил свое убежище и пополз во-сво-сяси. Стоило ввалиться в траншею, как на мне повисли ребята. Они были безмерно рады моему возвращению.

— Начало сделано, — сказал комиссар батальона Колесников после моего доклада. — Теперь отдохнешь хорошенько, а после продолжишь.

На следующее утро, однако, прошла по окопам радостная весть: фрицы выбросили на своей передней линии по всему участку обороны белые флаги.

Я примчался по ходу сообщения до

своего передка и увидел: через определенные интервалы друг от друга действительно стояли шесты с белыми вымпелами. «Неужели немецкие солдаты решили бросить оружие?» — мелькнула мысль в моей ошарашенной голове.

Никто не мог понять, что происходит. Комбат Кулаков, хитро улынувшись, многозначительно заметил:

— Надо же, старшина своей чудотрубой загадку преподнес. Однако приказываю: всем по местам, поглубже закопаться. Чую, надо ждать нового сюрприза. Теперь уж от немцев.

Не прошло и часа, как с левого фланга вдоль нейтральной полосы зашли два мессершмитта и лихо отбомбили, обстреляли наши передовые позиции.

А что же значили белые флажки? Да чтобы при налете не задеть свои же передовые части, фрицы поместили их месторасположение. Зато нам пришлось хлебнуть горяченького. Выходит, моя вылазка с трубой тут ни при чем.

А вскоре из политотдела дивизии пришло указание временно прекратить эксперимент с «громкоговорителями». До конца же войны оставался еще 991 день.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Солнечный берег Болгарии... Едва солнце спустилось за синее море и на землю легла прохлада, как отдыхающие потянулись на свои излюбленные места: в уютно открытые кафе, рестораны, скверы и экзотические варьете. Меня и двух моих молодых друзей, тоже туристов из Сибири, беззаботно бродивших по приморскому парку, привлек маленький ресторанчик, спрятавшийся в зелени. Милый, интеллигентный бармен-братушка усадил нас за отдельный столик.

Вдруг со стороны Несебра послышалось цоканье копыт, и мы увидели приближающуюся карету с парой белых лошадей и кучером в черном цилиндре. Из нее с шумом вывалилась большая компания. И как только она смогла вместиться в эту изящную сказочную повозку?

Вновь прибывшие гости вошли в ресторанчик. Это были две пожилые пары — похоже, немцы из ФРГ. А с ними молодые (как потом выяснилось — жених и невеста). Их сопровождали

спирта этому немцу. Он ведь тоже человек, хоть мы и на войне.

— Я не против,— сморщился командир.— Ну что ж, с Новым годом, братья по оружию. И дай Бог, не с последним!..

И тотчас в студеную ночь связной Васильев увел в штаб батальона от-

воевавшегося фрица — может, и правда, нужного командованию «языка».

...И вот спустя столько лет меня обожгло совпадение. Тот пожилой немец из вечернего ресторанчика, пожалуй, возрастом постарше меня... Не был ли в ночь под Новый, 43-й год, тем фрицем?

Анатолий Козлов

* * *

Мне сорок лет...

Хотя давно не сорок...

Да, сорок лет, как погибал в бою.

...Исходит гарью и чадит пригорок,

Где я лежу у смерти на краю.

Вокруг меня дымят одни воронки,

И все перековеркано кругом.

...Неужто улетела похоронка,

Как черный ворон,

в мой родимый дом?

Застыло тело, омертвев от муки.

В кровавых пятнах подо мной сугроб.

И вдруг я чувствую,

как чьи-то руки

Легли теплом на мой открытый лоб.

Потом опять с сознанием неполадки.

Вот снова приоткрыть глаза могу.

А медсестра меня на плащпалатке

Все волокет, сама по грудь в снегу.

...Как мне благодарить тебя —

не знаю.

Прими солдатский мой поклон земной!

Услышь меня, сестра моя родная.

Когда б не ты, что было бы со мной?

1985

Михаил Борисов

* * *

Сорок третий

Горечью полынной

На меня пахнул издалика—

Черною

Обугленной равниной

Видится мне Курская дуга.

«Тигры» прут,

По-дикому упрямы,

Но со мною

В этот трудный миг

Прямо к окуляру панорамы

Весь мой полк

Уверенно приник.

Громыкнуло

Сразу на полсвета.

Танки

Словно факелы горят...

Нет, не зря живет во мне

Все это

Три десятилетия подряд!

Те бои —

Как мера нашей силы.

Потому

Она и дорога,

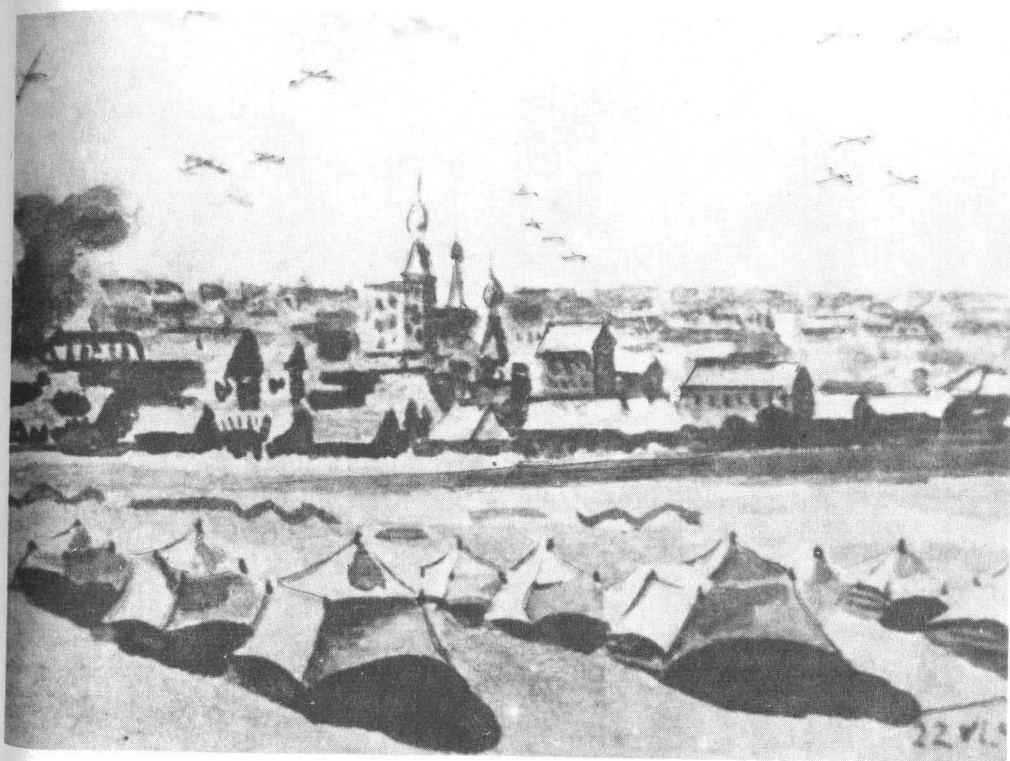
Насмерть прикипевшая

К России

Курская великая дуга...

1975

прав-
зыка»,
меня
ой не-
пожа-
... Не
й год,



Я. Буймов. Львов. Первый день войны. 1941.

Немецкий бомбовый налет застал солдата Якова Буймса во Львове.
Было раннее утро 22 июня...



А. Ананьин. Пограничный дозор. Приморье. 1944



А. Ананьин. Моряки-пограничники. Приморье. 1944





А. Кирчанов. Пленные фрицы. 1944

А. Кирчанов. На пустом месте. Освобожденная деревня. 1944

А. Кирчанов. Штурм Берлина. 1945



В. Черепанов. Ветераны Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища (ЛКПУ):
гв. полковник Гушкевич П. Н. и подполковник Коптебаев М. К.
К 40-летию училища. 1982



В. Черепанов. Танковый десант. набросок к картине, 1985

В. Черепанов. Между боями. набросок к картине, 1981





П. Чернов.
Станция Лисино. Связистка.
20 мая 1944 г.

П. Чернов.
Испанка. Однополчанка
из 43-й артбригады, 1945



ДЕВЯТЬ ПИСЕМ С ФРОНТА



В 1991 и 1993 гг. дважды вышла книга кемеровского писателя В. Рудина «Солдат Божьей милостью». В ней автор поведал о необычной судьбе нашего земляка-кузнецанина Героя Советского Союза генерала Ушакова Николая Григорьевича.

Во время нашего контрнаступления на Курской дуге в июле 1943 г., когда он командовал 3-й гвардейской легкоартиллерийской бригадой, в течение часа дважды попал под немецкий обстрел, остался без правой руки и подлежал демобилизации: людей с таким ранением не брали даже в тыловые военкоматы. Ушаков же рвался на фронт.

Еще в госпитале, преодолевая фантомные боли и даже теряя подчас сознание, он выучился писать левой рукой. К 7 ноября 1943 г. Ушаков явился в Москву, в Главное управление артиллерии, где добился возвращения в строй. 18 ноября он уехал на Белорусский фронт, где был назначен командиром 35-й гвардейской Речницкой минометной бригады.

Н. Г. Ушакову доверили огромную огневую силу: 4 минометных полка, 144 миномета. Собранные вместе, они проламывали немецкую оборону, после прорыва прикрывали свою пехоту. С этой бригадой Ушаков воевал до последнего дня Великой Отечественной: освобождал Белоруссию и Польшу, форсировал Вислу и Варту, ему удалось первым в 62-м стрелковом корпусе форсировать Одер, захватить плацдарм южнее Франкфурта и удержать его до подхода главных сил корпуса.

24 апреля 1945 г. минометную бригаду перебросили в Берлин, она участвовала в уличных боях в центре города: командный пункт бригады разместился в Силезском вокзале; последние залпы бригада дала по немецким позициям в Тиргартене и у рейхстага.

В работе над книгой В. Рудин использовал помимо архивных документов письма Н. Г. Ушакова с фронта к жене и дочери, а также личные воспоминания о войне Ушакова. С разрешения автора мы публикуем некоторые из писем (часть из них написана левой рукой), а также страницы из его воспоминаний.

Женя, о котором Н. Г. Ушаков упоминает в письмах,—его старший брат Евгений Григорьевич Ушаков, в годы войны генерал-майор, командовал различными дивизиями.

Редколлегия

ПИСЬМА Н. Г. УШАКОВА К ЖЕНЕ И ДОЧЕРИ

20 декабря 1941 года

Милые, дорогие мои Лизочка и Светланочка!

Пользуясь некоторой передышкой, решил черкнуть вам несколько слов. Прежде всего я, ваш папка, жив, здоровехонек и целехонек. С 22-го ноября сорок первого, вот уже 28-й день двигаемся все вперед и вперед, идем день и ночь с небольшими передышками, а конца пока нашего марша не видно, где будет «посадка», неизвестно. В настоящее время морозы сменились дождем и слякотью. Грязь непролазная как в степи, так и населенных пунктах.

Вчера ночью после продолжительного времени выкупались с майором в бане, правда, баня довольно оригинальная, но все же лучше, чем ходить грязными.

Золотой чувствует себя прекрасно. Вчера временно, по просьбе генерала мою Золотушу передал ему, сегодня уже на нем гарцует генерал-майор. Генерал говорит, что у капитана Ушакова лучшая лошадь в бригаде.

Абинка наша осталась далеко позади, идем в северо-западном направлении... спим и едим с майором Емельяновым, дружба — водой не разольешь.

Питание хорошее. С куревом хуже, уже давно перешли на махорку.

Как-то вы там живете, мои роднучки милые, соскучился я по вас очень сильно, и встретиться придется еще не скоро. Главное, чтобы вы, мои дорогие, хорошо жили, а обо мне не беспокойтесь. Как только достигнем более крупного населенного пункта на линии ж. д., дам телеграмму. Мне, конечно, не пишите, т. к. постоянного места жительства не имеем. Положение на фронте тебе известно. Красная Армия перешла в наступление с зада-

чей уничтожить до одного фашистского мерзавца.

Так приказал т. Сталин, и его приказание выполняется и будет выполнено в точности.

Привет всем родным и знакомым, горячий привет батьке, матке, Шуре с Тосей, Зине, Косте, Вове, Иде и всем, всем.

Целую крепко, крепко и несчетно раз моих милых голубок.

Ваш папка

1 апреля 1942. Станция Самодуровка

Милые, родные Лизочка и Светланочка!

Пользуясь случаем, что на этой станции будем стоять часа два в ожидании паровоза, я решил коротенько написать вам о себе.

Прежде всего жив и здоров, чего и вам от души, мои милые роднучки, желаю. Два дня тому назад с дороги послал открытку. Меня интересует, получила ли Лизочка посылочку, которую я отправлял в начале марта, сейчас уже прояснилось, куда едем, т. е. где будем формироваться, а поэтому прошу по получении этого письма писать мне «до востребования» по адресу: ст. Дубиновка, Оренбургской ж. д., мне. С первого мая согласно приказу НКО № 40 будешь получать деньги по новому аттестату 800 руб. в месяц, а сейчас по приезде на место переведу вам из моих сбережений рублей 500—700, к празднику 1 Мая. Напиши, как вам там живется вообще, как вы питаетесь и прочее. Я тебе писал уже, что с 15 февраля 1942 я командую полком, Емельяныча перевели в другой полк. Матынга в полку нет, он по целому ряду обстоятельств уже на том свете. Помощник командира полка Башкиров тоже за ним пошел. Есть еще потери, но ты

их не
напиш
броси
дней
хоже
ежедн
лотым
тяжел
граде,
ды ег
Но ни
на фр
завчер
нулечи
не пи
моя г
ке. Н
не в
единст
всех —
разу.
тельно
В том
этом
надею
встрет
го. Те
дать
можен
них ус
фаши
помож
знаю,
ни м
постар
над в
и жизн
Пок
мои д
ний п
Цел
раз.

Станц
Мил
17.И
ми в
ваться

их не знаешь. По приезде на место напишу, куда нас в дальнейшем забросит судьба. Ехать еще придется дней десять-пятнадцать, здесь не похоже на весну, морозы, пурга почти ежедневно, едем в теплушках. С Золотым пришлось расстаться, как нитяжело было его оставлять в Сталинграде, а пришлось. Начштаба бригады его с удовольствием взял к себе. Но ничего, если нужна будет лошадь, на фронте добудем еще лучше. Позавчера видел тебя, Лизочка, моя роднучка, во сне, очень хорошо. Я уже не пишу о том, что скучаю по тебе, моя голубка, сильно, и о Светланочке. Но ничего, надо терпеть, теперь не время об этом думать. Теперь единственная цель должна быть у всех — уничтожить эту проклятую заразу. Весна этого года и лето окончательно решат судьбу этих бандитов. В том, что Красная Армия победит, в этом нет ни на минуту сомнения. Я надеюсь, что после войны мы еще встретимся и проживем лучше прежнего. Тебе, моя голубка, советую не падать духом и помогать фронту, чем можешь, это самое лучшее в теперешних условиях — желать победы над фашистами мало, одним желанием не поможешь. Надо помогать делом. Я знаю, что ты у меня в этом отношении молодец. Я же в свою очередь постараюсь отдать все для победы над врагом, если потребуется, отдать и жизнь свою.

Пока будьте здоровы и счастливы, мои дорогие, любимые голубки. Горячий привет всем родным, знакомым.

Целую крепко, крепко и несчетно раз.

Ваш папка

Станция Кувандык. 18 апреля 1942 г.

Милые Лизочка и Светланочка!

17.IV.42 прибыл со своими остатками в Кувандык, где и буду формироваться.

Вчера после месячного путешествия по ж. д. были в бане и смыл всю ту ужасающую грязь, которая накопилась за это путешествие, и теперь чувствую, как будто снова родился. Состояние здоровья хорошее. Ездил в Чкалов — бывший Оренбург — являться начальнику артиллерии округа. Генерал-майор очень обрадовался моему приезду и сейчас же позвонил командующему, звонит ему и говорит, — вы слышали эпопею 33-го? Тот ему отвечает, что «помню, помню». Так вот, говорит, этот многострадальный 33-й прибыл и выгрузился там-то... Я снова получил приказ о назначении и формировании нового полка на старой базе. Так что в мае уже будем на фронте громить этих негодяев до полного уничтожения. А сейчас пока работы по горло. Золотой мне в этом полку не понадобится, так как мы полностью перешли на мехтягу. Хорошо, что я его оставил в Сталинграде.

Здесь очень спокойно, народ живет по-мирному, первое время как-то даже дико кажется и скучно. Иногда даже забываешь, что идет война, народ здесь о ней и понятия не имеет. Но дороговизна ужасная: мука 1000 рублей пуд, яйца 120 р. десятков, масло 500—600 руб. за кг и т. д.

Завтра переведу вам, мои роднучки, 600 рублей. Знаю, что тебе, моя родная Лизочка, тяжело сейчас приходится, но ничего не поделаешь, главное не голодайте, загоняй все, что возможно.

Пиши мне по адресу: станция Кувандык, Оренбургской ж. д., п/я № 112.

А пока крепко, крепко целую моих родных, любимых и дорогих.

Ваш папка. Горячий привет всем.

11.V.42 г.

Мои родные, любимые голубки, Лизочка и Светланочка!

Сегодня для меня большой праздник, только час тому назад я получил от тебя, моя родная, дорогая и любимая Лизочка, письмо, писанное 16.IV.42. Много в твоём письме радостного, приятного, но еще больше неприятного. Приятно, что Женя жив, я очень рад за него, скоро поеду его поддерживать огнем и колесами, буду расчищать его полку путь от фашистской мрази. Но что особенно тяжело и неприятно, что бедная Соня со своими детками осталась на территории этих мерзавцев. Очень и очень жаль бедного Павлика и Олю, бедная осталась с такой оравой, да еще в такое тяжелое время. Ну что же, ничего не поделаешь, чему быть, того не миновать, теперь таких, как Оля, очень много. От всего сердца сочувствую и Оле и Жене. Сегодня получил телеграмму от Военного Совета Округа, где сообщают, что мне присвоено звание «майор», так что можешь поздравить, теперь я у тебя не капитан, а майор. Скоро должны выехать на фронт, но точно пока неизвестно. Сейчас здоровье хорошее. До этого с неделю проболел: замучил живот. Сейчас поправляюсь. Да, по правде сказать, и болеть-то некогда.

Хлопот и забот полный рот. Вместо Золотого получил «эмку», дела пока идут хорошо, надеюсь, что на фронте войдут еще лучше. Приложим все силы, чтобы наш полк стал гвардейским. Я тебе еще раньше писал, что я команду тяжелым артполком — артиллерия резерва Главного командования, все на мехтяге. Действовать будем на главных направлениях, подчиняться только командарму. Все горят желанием как можно скорее на фронт, испытать всю мощь нашей техники на вшивых фрицах.

Погода здесь стоит пока дождливая и холодная, теплое белье еще не снимаю. Вчера приезжали в полк представители местной власти и выразили

желание преподнести нашему полку Красное Знамя, и второе знамя готовит один из местных военных заводов от рабочих завода. Ну и гвардейское знамя получим на фронте, за боевые подвиги.

Ты конечно скажешь, что медведя не убил, шкуру поделил. Но ведь плохой тот солдат, который не надеется быть генералом.

Завтра напишу письмо Жене. А ведь неплохо было бы попасть вместе на один участок фронта. Вот жалко, что ты не сообщила адрес Виктора, я бы его перевел к себе в полк. Мы даже сегодня говорили с комиссаром, он предлагает дать телеграмму за двумя подписями тому командиру артполка об откомандировании Виктора в мое распоряжение. Но адреса нет.

Передай моей самой любимой, дорогой и родной моей дочке Светланочке, что папка ее любит по-прежнему и тоже очень скучает по ней. Очень сильно скучаю по мамочке, моей родненьке. Но все же надеюсь, что месячик через шесть снова встретимся, снова буду с вами, мои родные, дорогие и самые любимые голубки. За лето фрицев уничтожим полностью и вернемся домой с полной победой...

А пока будьте здоровы и счастливы, мои родные и горячо любимые голубки. Привет самый горячий мамке, батеньке, Кате, Зине, Шуре с Тосей, Воле, Иде и всем, всем родным и знакомым. Целую крепко, крепко и несчетно раз моих милых и любимых родненьких.

Ваш папка

19 ноября 1943 г.

Дорогие Лизочка и Светлана!

Сегодня, дорогие мои, получил результат ожидания. Сначала решено было оставить меня в тылу, и должности были на выбор, но вчера получи-

ли приказание от генерал-полковника Казакова направить меня в распоряжение Рокоссовского. Завтра еду. Получил звание полковника. Получил зимнее обмундирование. Шинель, папаха, теплое белье, две пары шерстяных носок, перчатки, сапоги хромовые и другую мелочь. Все это время жил у Нади, кормился в столовой военторга, питание неважное. Надя тоже работает, живут впроголодь.

По приезде на фронт сообщу свой адрес. Еду на Белорусский фронт, в район Гомеля. Мои родные, обо мне не беспокойтесь. Горячий привет всем. Крепко целую.

Любящий вас папка

16.12.43 г.

Милые родные мои, Лизочка и Светланочка!

В течение пятнадцати дней не писал вам. Все это время почти жил на колесах. Разъезжал по частям фронта по специальному заданию. Сейчас эту миссию заканчиваю и на днях получу назначение. И тогда буду иметь адрес. С Женей не виделся, он тяжело ранен и находится в госпитале, а где — не знаю.

Был в гостях у подполковника Петухова, это мой бывший зам. Сейчас командует запасным артиллерийским полком. У него сфотографировался, и вот с этим письмом посылаю фотографию с «полковника». Погода на фронте стоит хорошая, не холодная.

Помучился, пока ехал из Москвы до фронта, а здесь дали ординарца, человек оказался очень хороший, че-

стный и старательный. Мои любимые, обо мне не беспокойтесь.

А пока будьте здоровы. Как буду иметь постоянный адрес, буду чаще писать. Целую очень крепко.

Ваш папка

1.8.44 г.

Здравствуйте, мои дорогие и любимые, Лизочка и Светланочка!

Я пока жив и здоров, сейчас со своими орлами вышел за Вислу, с боями продвигаемся дальше, большой и последний привал будет в Берлине. За отличные боевые действия мое соединение награждено орденом Красного Знамени и представлено на второй.

По ходу боевых операций фрицам будет с ихним бандитом Гитлером скоро капут.

Я очень обижаюсь на тебя, что ты очень редко пишешь, думаю, что у тебя больше времени, а мне, чтобы написать, надо и время, и удобство вроде стола, что не всегда бывает, да и пишу очень медленно, никак не могу еще научиться... Надеюсь, что будешь писать чаще. Пиши, как живете, как здоровье твое, Светланы, батяки с маткой и всех остальных. Напиши, почему переименовали город. Я тебе писал про встречу с Женей, Костей Емельяновым, а недавно, на днях, встретился с Женей Ефимовым, он тоже полковник, командует бригадой, основательно постарел. Воюем с ним на одном участке фронта. По характеру все такой же. А пока будьте здоровы, крепко, крепко целую моих родных, дорогих любимых.

Ваш папка

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Г. УШАКОВА
О БОЯХ 1166-ГО ПУШЕЧНО-Артиллерийского полка
СЕВЕРНЕЕ Г. СТАЛИНГРАДА**

Мне с моим полком пришлось держать оборону в районе ст. Котлубань. Перед нашей обороной, помню, на небольшой возвышенности был железнодорожный разъезд 564, на котором закрепились немцы, здесь же, слева от него, был неглубокий овражек, а в этом овражке был колодец с питьевой водой, это был единственный небольшой водоемчик на переднем крае на весь участок фронта. На этом же разъезде стоял брошенный нашими железнодорожниками паровоз. Позиция очень выгодная для немцев, с нее очень хорошо просматривались далеко в глубину, вплоть до ст. Котлубань наши боевые порядки, а также обстреливались прицельным огнем...

Здесь, как и на других участках фронта, ожесточенные оборонительные бои не утихали ни днем, ни ночью, авиация противника безнаказанно господствовала в воздухе, ежедневно с раннего утра до позднего вечера бомбила наши боевые порядки. Нам приходилось укрываться в открытых окопах неполного профиля: земля была как каменная. Бои принимали все более ожесточенный характер. Ежедневно отбивая многочисленные яростные атаки противника, мы несли также большие потери в людской силе и технике. Здесь впервые немцы применили против нас психическую атаку, которая дошла до рукопашной схватки. В ней приняли участие и наши артиллеристы, и эта атака была отбита с большими потерями для немцев.

Шел жаркий сентябрь 1942 года, поле боя превращалось в кромешный ад: горели подбитые танки, трупы не успевали убирать ни мы, ни немцы. Воздух был отравлен трупным запахом, пахло жареным в танках человеческим мясом, копать от горящих

танков, грохот от разрывов бомб и снарядов — все это страшно действовало на психику людей. В этой обстановке мы даже не имели возможности оказывать первую помощь раненым бойцам и офицерам, можно было слышать, особенно ночью, при сравнительном затишье, душераздирающие крики раненых, которые зывали о помощи или просили их добить. Были случаи, когда люди со слабыми нервами сходили с ума — выскакивая из окопов, они бежали во весь рост по полю боя, разрывали на себе рубашки, кричали: «Нате! Стреляйте, гады!»

Мы также знали о том, что сзади наших боевых порядков стояли заградотряды, но они бездействовали, так как мы не думали отступать и стояли насмерть.

Вскоре перед нами была поставлена задача командующим 24-й армией овладеть разъездом 564 во что бы то ни стало. Очень трудно воспроизвести на бумаге ожесточенные, кровопролитные бои за овладение разъездом. Часто эти бои в траншеях противника переходили в рукопашные схватки. По ночам мы продолжали вести непрерывный беспокоящий артиллерийский огонь по боевым порядкам противника.

Бои за разъезд продолжались больше месяца, за это время он 28 раз переходил из рук в руки. От паровоза, который продолжал стоять на разъезде, остался голый котел без наружной арматуры, и еще уцелели под ним колеса. Весь район разъезда был буквально завален трупами, поле боя также превратилось в кладбище подбитых танков и артиллерии. Это место стало непроходимым для танков, которые буксовали на трупах, не могли продвигаться ни вперед, ни назад,

и расстреливались нашей и артиллерийской противника на месте.

Этот разъезд впоследствии у нас получил название «Разъезд смерти», немцы его называли «Разъезд капут». И все же, несмотря на яростное сопротивление немцев, этот разъезд оставался за нами, мы часто оставались там на ночь, а днем немцам снова приходилось с большими для них потерями выбивать нас с разъезда. Мы также имели возможность за ночь запастись на день боя питьевой водой, которая для нас также была вопросом жизни... В конце концов, несмотря на отчаянные попытки немцев вернуть разъезд, они не увенчались успехом, разъезд был навсегда наш. Но это «счастье с водой» продолжалось всего несколько дней. Немцы учли, что по ночам мы безнаказанно пользуемся колодезем, и все ночи напролет стали держать колодезь под сильным минометным и пулеметным

огнем. Вода доставалась ценою больших потерь. Но ведь немцы тоже хотели пить. И тут, я даже не пойму, как-то сам собой утвердился неписанный договор. По этому «мирному» договору с вечера в течение полутора-двух часов мы запасались водой на день, а после нас немцы, и в этот период ни мы, ни немцы не вели огня по колодезю. Об этом неписаном соглашении знали только мы, ни армейское, ни фронтовое начальство не знало, а мы это соглашение держали в секрете.

Закончу строчками из американской газеты «Нью-Йорк Геральд трибюн» от 27 сентября 1942 года: «Такие бои не поддаются стратегическому расчету, они ведутся со жгучей ненавистью, со страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни германских воздушных налетов. Но именно только такими боями выигрывают войны».

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

16 декабря 1942 г.

Мама, я прошел огонь и воду, весь исковерканный и в заплатах, но духом не падаю, думаю, что еще из многих фрицев душонку вытряхну.

С приветом ко всем

Валентин

8 января 1943 г.

Привет, привет Вам, мой незабываемый друг-учитель. Ну что нового в Вашей жизни? Мне кажется, что Вы мне не были учительницей, а родной сестрой, почему-то у меня сейчас к Вам такая сильная привязанность, а ведь, Анна Алексеевна, я к Вам не была близка в школе. Если уж буду жива-здоровая, приеду, то в первую очередь к Вам.

Анка-фронтовичка (так меня здесь зовут)

4 января 1943 г.
Фронт

Дорогие мои, отец и мать, будьте спокойны, подумайте о себе, меня вы, дорогие мои, не жалеете.

Сегодняшняя ночь решит, буду жить я или нет. Если нет, если суждено умереть мне здесь, у белофинской проволоки, отец, ведь лучше умереть хорошей смертью, о которой будут говорить и которую я отдам не бесцельно. Мама, сестры мои, не плачьте, я отдам жизнь за счастье нашей Родины и ваше счастье, а это смерть хорошая, за это дело можно отдать жизнь...

Ваш сын Федор

Игорь Киселев

ЯБЛОКО

Липы, каштаны и клены.
Латвия!
Зонтик зеленый.

Повсюду на горизонте
Серебряном, как ручей,
Колеблется этот зонтик
Из зелени и лучей.

Но, бредя страной зеленой,
Так рассказал бы вам
я о ней:

Я Латвию вижу не кленом,
не липой,
не ясенем —
яблоней.

В мире, простом и счастливом,
Яблоней, белым наливом.

Яблоко, ты прекрасно,
Ты продолжаешь жизнь.
По моему приказу,
Яблочко, покатысь!

Замков старинные своды,
Шелест бесчисленных нив.
Через леса, через годы
Катится белый налив.

Пасмурно в Рижском заливе.
Волны тяжелые бьют.
В яблоке, в белом наливе,
Черные годы встают.

Пули, свистящие тонко,
Издалека пронеслись...
Ты на ладошке ребенка,
Яблоко, остановись!..

А шли они под липами косматыми,
Не строим шли — угрюмою гурьбой.
И гнали их солдаты с автоматами,
Не на работу гнали —
На убой.

В домах старинных окна будто
умерли.
По хмурым лицам дождь прошел и стих.
И прятались в сиреневые сумерки
Прохожие, завидевшие их.

В садах качались красные фонарики.
Полз по стволам и свешивался хмель.
И женщины детей хватили на руки,
Заслышав повелительное:
— Шнель!

Шли по селу. По саду. По опушке.
Им вслед смотрели жители села.
И кто-то бросил яблоко девочке,
И та девочка яблоко взяла.

Теперь их не окликнешь, не догонишь,
Не разглядишь сковозь выстрелы и дым.

И вместе с ними — рыжий
несмышленыш,
Любующийся яблоком своим.

Все было ясно: длинная траншея,
И каски, и в цистерне креозот...
А девочка смеется, хорошея,
И яблоко веселое грызет.

Не догрызет!
Так свет внезапный ярок.
Не догрызет...
Так страшен этот стук!

Но яблоко —
последний свой подарок —
И падая, не выпустит из рук.

Гляну направо я,
Гляну налево.
Веки сожму на сквозном ветерке.
Вижу: стоит пятилетняя Ева,
Яблоко раненое в руке.

И, с нетерпением дождавшись
команды,
Будто с цепей отпустили зверье,
Все пулеметы и все автоматы
Бьют в беззащитное тело ее.

Девочка, много ли ты понимала?
Теплое солнце и добрая мама.
Много ли в жизни ты видела, Ева?
Бегала, пела, смеялась, росла.
Знала ли ты,

что ты вырастишь древо—
Древо познания добра и зла?

В море, в простор ослепительно
синий,
Облаком снежным летят лепестки.
Ствол наливается доброю силой,
Встав из простреленной
детской руки.

Яблоки катятся, падают с неба,
Яблоки светятся над головой...

Ты возвратила подарок нам, Ева.
Ты возвратила подарок с лихвой.

Это сегодня любому знакомо:
Небо тревожно, и грозы близки.
Где-то, как черные зубы дракона,
Новой войны прорастают полки.

Вы, кто расстреляны в Минске,
и Бресте,
И в захолустном каком городке,
Это зовет, собирает вас вместе
Девочка с яблоком в тонкой руке!
Это ее голосок невесомый
Нынче летит над землею бессонной.

Встаньте, незрячие!
Встаньте, немые!
В памяти нашей как прежде сильны!
Самая славная армия в мире,
Объединенная против войны!

А впереди, в обожженных знаменах,
Там, где беспечно шумят ветерки,
Пусть проплывает над вами ребенок
С яблоней, выросшей из руки!

Липы, каштаны и клены,
Яблонь весеннее платье.
Латвия! Зонтик зеленый!
Латвия!

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

14 января 1943 г.

...Сегодня уже третий день мы в новой и очень беспокойной обстановке. Скоро Вы узнаете, что произошло на нашем участке фронта. Мы находились на защите города Ленина. А теперь снимаем блокаду с города Ленина. И сейчас здесь стоит такой грохот наших знаменитых катюш! Сидишь рядом и друг друга не слышать, когда разговариваешь. Эти дни, что мы переживаем, будут помнить все, кто останется жив. Меня однажды чуть не ранило, но спас планшет с бумагой и картами. Осколок от мины застрял в бумагах...

Ваш бывший ученик Павел

М. Кушникова

ЖЕСТОКАЯ КУПЕЛЬ

Из документальной повести

В моей комнате стоит кофр—дорожный сундук для перевозки платья. В свое время опереточный артист Лиров возил в нем свой сценический гардероб. Теперь же он хранитель нашего семейного архива. В нем письма. Старые фотографии. И—заветное: записки полувековой и более давности. Поры войны и почти по сей день...

СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

22 июня 1941 г. Поход в Рошкановские виноградники отменяется. Такой прокол! Когда на рассвете грохнуло—раз, другой, а потом пошли взрывы,—мы подумали: опять землетрясение, какое было прошлой осенью. Мы думали—подземный гул, а были бомбовозы, рушились дома, куда падали первые фашистские бомбы.

...Мы с Лилей проснулись—на часах 4.45—кинулись в спальню к маме и ее родителям. Мой отец наспех одевался, мать собирала что-то в узлы (опыт того же землетрясения). В спальне у Лилиных родителей—другая картина. Дядя Лёва в трусах втискивается между тумбами солидного письменного стола, за которым выписывает рецепты, когда принимает больных на дому. Под столом живет наш красавец—сеттер Боб, который вежливо на дядю Лёву урчит: не лезь на чужую постель. Дядя Лёва все равно пытается втиснуться к Бобу,—землетрясения он боится пани-

чески. Лилина мама прислушивается к гулу: «Это самолеты!—всхлипывает она.—Это не землетрясение, а война!»

Нас с Лилей посылают через дорогу к Большой Мусе, у нее квартируют двое летчиков, за что ее, восемнадцатилетнюю, одинокую в большом доме (родители уехали в Румынию, она—отказалась), немало порицают. Большая Муса зовется так с поры чуть не нашего младенчества, потому что из всей юной поросли Рейнского переуллка она самая взрослая. На улице перед домом Большая Муса, в капоте и папильотках, блаженно шурится на только что заснявшее солнце. Нежно шелестят перед окнами каштаны—им вот-вот цвести. Мусины квартиранты в галифе и линиях майках потягиваются: Учения! Пошли досыпать!—и в тапочках на босу ногу прошлепали в дом...

К полудню телефон затрезвонил—знакомые обменивались слухами. В 12 часов по радио правительственное сообщение: война.

Через час мы всем семейством двинулись в госпиталь. наших родителей, военнообязанных, срочно вызвали, а мы с Лилей, конечно же, при них. «Погорела прогулка на виноградники. В кои веки меня решили взять во взрослую компанию—сам Мирослав Роскин меня пригласил, как большую, и на тебе—война! Нет, это только мне так не везет в жизни»,—записала тогда.

8 июля 1941 г. Два дня сидим в Дубосарах в погребе. Из Кишинева госпиталь эвакуировали 6 июля. Город горел. В нашу машину попал осколок, и она взорвалась. Так что вторая очередь персонала, то есть мы, 38 человек, вышли из Кишинева пешком. В Дубосарах — первая остановка.

...Мы с отцом шли рядом. Бомбежка не прекращалась, так что пережить было нечего. В этот день погибла Лилина мама, Прекрасная Розалия, как мы ее называли. Родители Лили утром поехали домой, чтобы привезти бабушку, которая должна была эвакуироваться с нами. И еще надо было пристроить у соседей нашего любимого Боба. На обратном пути в самом центре около арки-колокольни трамвай остановился. Началась бомбежка. Люди укрылись под аркой. На пути стояла вереница вагонов. Около колокольни упала бомба. Дядя, тетя и бабушка, которая была сестрой милосердия еще в первую мировую войну, бросились к раненым. Так нам рассказали потом. Они находили среди трупов тех, кому еще можно было помочь, и оттаскивали на паперть. Дядя вносил раненых в собор. Вторая бомба упала рядом. Собор выстоял. Кто был в нем — выжили. Тетю Розалию и бабушку убило волной.

Моя мама узнала, что ее мать и сестра погибли, когда мы стояли во дворе нашей 3-й городской больницы, в которой всю жизнь работали мои и Лилины родители. Мы стояли у самых ворот, когда наших привезли в морг. И мама хотела остаться, чтобы похоронить их. Но — не осталась. Она была частью госпиталя, поэтому не могла, не имела права решать свою судьбу отдельно от судьбы госпиталя.

Мы с отцом шли рядом. Я спросила: сколько шансов у нас хотя бы выбраться из города? Он ответил: чуть меньше одного. Он всегда гово-

рил правду. Он учил меня не бояться смерти, не бояться опасности, вообще ничего не бояться. Он говорил: страх унижает человека. Когда отец был рядом, я ничего не боялась. Теперь, когда его давно не стало, в крутые минуты думаю: как бы он поступил, и стараюсь все делать так, как сделал бы он.

Мы шли всю ночь. Дорога к Днестру была забита людьми, повозками, гуртами овец, стадами коров. Грузовики, фургоны, кони — все тянулось к Днестру. Мы шли, пока хватило сил. Потом мама начала отставать, мы присели на обочине. По шоссе проезжало много полупустых телег, бричек, двуколок. Но сколько мы ни голосовали, никто не остановился. Не знаю, что на меня нашло, только я рывком оказалась на дороге, в самой гуще потока, перед бричкой, запряженной пегой конягой. В бричке двое в мягких плюшевых кепках и пыжиковых зимних полупальто (мы столь предусмотрительными не были: в июле — одеты по-июльски) сидели на облучке, опираясь ногами о железные ящики. В бричке лежали железные шкафы вроде сейфов. По сию пору считаю, что, судя по вороватым взглядам тех двоих, увозили несправедливо добытые первые мародерские трофеи из каких-нибудь отечественных запасов или просто «сняли кассу» на своих предприятиях.

Стоя перед бричкой, я орала во всю мощь: «Возьмите нас, мама не может идти!» «Ты что, шкетка, ненормальная? — тоже заорал один из седоков и даже замахнулся на меня, — а ну, кыш!» Но я пронзительно завизжала: «Зверюга!» — и ни с места. Очевидно, седоки не очень жаждали привлечь к себе внимание — они неожиданно согласились, усадили маму и нас с Лилей на железные шкафы и погнали... На рассвете мы проехали через мост. В Дубосарах в больнице не осталось

ни одного врача. Да и городок был почти пуст. Наступление пугало, и кто мог, из города выезжал или уходил. Поэтому и оказалось, что наш госпиталь без остановки проследовал дальше, прямо на машинах, по направлению к Днепропетровску.

Нас же, оставших, «заарестовали». Больница нуждалась в медперсонале. Свой почти в полном составе эвакуировался. Отец, старший группы, сказал: «Остаемся на три дня».

9 июля 1941 г. Жив ли Мир? Отец сказал — две тысячи мобилизованных погибли на мосту. Фашисты разбомбили всю колонну.

...Так не стало наших мальчиков.

Отец и мать всю ночь были в операционной. Утром отец сказал: «За всю врачебную практику такой ночи не помню». Потом в погреб вбежала молоденькая сестричка Лида. Ее колотило. «Ой, тошно, девочки!» — причитала она. Потом ее стошнило, и мама уложила ее на свое пальто и прикрыла розовой шалью, которая почему-то оказалась у меня в руках, когда мы ушли из города. В шаль были завернуты две синие лечебные лампы. Кроме маминной дорожной сумки, больше никаких вещей с нами не было.

Сейчас вспоминаю, до чего же мы были наивными и доверчивыми. Видно, жизнь нас еще ничему не успела научить. Перед выездом из госпиталя наш завхоз, некий Фридман, и старшая сестра Паня, с которой он был более чем дружен, объявили: «С собой — никаких вещей. Всё — на платформу. Нагонят вас в Дубосарах дня через два-три». И мы с радостью и облегчением сложили все, что приготовили в путь, на конные платформы и бодро отправились налегке...

Позднее в Куйбышеве мы встретили наш госпитальный эшелон. Неугомыые Фридман и Паня споро и расторопно распоряжались эвакуационной

жизнью. «Ваши вещи? — махнул рукой Фридман. — Только и заботы — барахло. Сразу видно, кто чем дышит!» А между тем дядя Лёва брезгливо протянул к Пане тонкие сухощавые пальцы, ухватился за кончик шелковой шали с кистями и заявил: «Это шаль моей жены!» Кто-то узнал на Фридмане свои сапоги, в общем, Фридман был разоблачен. Отчего легче никому не стало — вещи как пропали, так и пропали...

Через пару недель где-то на приволжской станции Фридман выкинет через окно старого крохотного шпица, которого у себя за пазухой нес всю дорогу дядя Боря Обут, наш аптекарь. Из-за этого его престарелая мать — до того престарелая, что мы, юные нахалки, называли ее «наша древность», — чуть не умрет от сердечного приступа. И тогда долговзый, сдержанный, похожий на англичанина, дядя Боря отдубасил Фридмана так, что он в наш вагон после этого и глаз не казал до самого Ташкента.

...Но все это будет потом. Пока — мы в Дубосарах. И я пишу:

9 июля 1941 г. Лида мне все рассказала. Мир, мой золотоголовый дружок, ты был на мосту. Еще сегодня ты был совсем рядом. Ты узнал отца. Улыбнулся ему. А у тебя вместо живота — рана. Отец сделал укол. Боль утихла, и ты улыбнулся...

...Лида стояла рядом. Она сказала: волосы, — твои золотые волосы, — были багровые от спекшейся крови.

МЫ ЕДЕМ В ТАШКЕНТ

1 августа 1941 г. Наконец сели в поезд. Добрались до Куйбышева. Сосновые леса и серые деревянные дома. Никогда таких не видели. В Куйбышеве — пересадка. Решение после долгих споров. В эвакуационном пункте и от

военкомата назначение. Не в Сибирь, а в Ташкент. Победила «Лилина точка зрения».

...Ха, «Лилина точка зрения»! Не очень и Лилина, просто прикидывали, вещей с собой никаких, а в Средней Азии хоть зима теплая, стало быть, у разных начальников надо проситься в Ташкент. Где тепло — там и госпиталь лучше! Тем более, первая очередь еще из Росоши отправилась в Ташкент. Однако Лиля, бедная наша Лиля, фанатка французского журнала для дам «Мари-Клэр», черпавшая в нем мечты о «красивой жизни», шептала нам с Лидой: «Представляете? Тропические ночи (почему тропические?!), яркие платья, пушистые белые жакеты, накинутые на плечи вечерами...» Пройдут годы и ничем ничему не наученная, как бы застывшая на волне мечтаний шестнадцатилетней девчушки, Лиля в последний миг своей жизни так и будет листать многолетней давности подшивки «Мари-Клэр», убегая, убегая, убегая — от самой себя, от трещин на зеркале нашей юности...

Но в Куйбышеве, как ни странно, полудетский шепоток о пушистых жакетах, возможно, и сыграл некую роль. Сейчас, по прошествии лет, понимаю, как растеряны были все мы и как скверно подготовлена эвакуация нашего госпиталя. Шепоток о «тропических ночах» в Средней Азии обрастал реалиями. Всем понемногу стало ясно, что нам в Сибири с нашим обмундированием — конец. И у разных начальников настырный Фридман, не без поддержки прочих врачебных авторитетов, выбивал и для второй очереди госпиталя Ташкент. И — выбил.

В Куйбышеве мы ночевали на вокзале, ждали назавтра поезд. Поговаривали, что, если повезет и не будет заторов, дней за десять можно добраться до места. Мы дошли пешком до Росоши почти за месяц, что такое

десять дней в поезде? — одно удовольствие...

2 августа 1941 г. Похоже, у меня ангина. Вчера ночью папа и дядя увели меня в вокзальный ресторан и заставили выпить рюмку настоящей водки. Зато мне купили два ломтика хлеба с черной икрой. Богато живут в Куйбышеве! В Росоши даже хлеба не нашли в буфете.

...Утром мы поехали в город искать кафе, где можно позавтракать. Лиля хотела какао с венской булочкой. Я — чай с лимоном. В одном, другом, в третьем спросили — на нас смотрели, как на ненормальных. Сюда война не докатилась, даже окна не заклеены.

«Просто удивительно: здесь люди в 9 утра едят по две порции щей и еще какие-то тефтели. А над нами смеются», — записала.

Наверное, мы в самом деле производим весьма странное впечатление в своих изрядно поношенных и довольно-таки нечистых некогда элегантных платьях в поисках какао и чая с лимоном. В разгар войны...

3 августа 1941 г. Едем в Ташкент. Вагон плацкартный. Мы с Лилей — на самых верхних багажных полках. На просто верхних — папа и дядя, на нижних — мама и Лида. Плацкартный вагон — роскошь!

...Конечно, это был не совсем тот поезд, где написано «Пульман» — сплошь мягкие вагоны, какой мы видели в Куйбышеве. Польский поезд. Какие из него высыпали шикарные полячки и поляки! Платья, прически, духи — совсем как в «той» жизни. Мы теперь довоенную жизнь так и называем «той». И при этом многозначительно вздыхаем. Потому что в тайне души мы все еще «вчерашие». Вроде тех комнатных болонок, отринутых хозяевами несколько лет назад, когда ввели собачий налог. Они еще не перестали чувствовать себя красавицами и самыми любимыми, не подозревая,

что их шелковистая шерсть давно превратилась в свалявшиеся лохмотья...

...А было дело так: в Куйбышеве мы с Лидой чинно сидели на вокзале и ждали, когда взрослые выяснят маршрут на Ташкент. И тут мимо нас прошествовали — не женщины — богини! С маникюром. От них пахло так довоенно, так призывно, и, словно повинувшись этому призыву, за ними табунились рослые, поджарые, в светлых костюмах мужчины, учтивые и по-довоенному расположенные к ухаживанию: кто-то подал даме шоколадку, кто-то сбегал в буфет и принес бутылку лимонада. Польки щебетали...

И тут невообразимое произошло с Лидой и Лилей. Они — еще вчера «красавицы и самые любимые» — напропалую закокетничали. Как это делается? На это нет рецептов. Каждый, как умеет. Только я хорошо их знала и мне очень был понятен язык их взглядов, наклоны головки, жест руки. Они словно посылали нарядным пришельцам из мягкого вагона пароли и сигналы: мы тут, мы такие же, мы с вами одной крови. Но пришельцы их SOS-ов не слышали, а равнодушно скользили по ним взглядами: пришельцы смотрели сквозь них, словно на деревянных вокзальных скамьях сидели вовсе не две молодые девицы, еще вчера считавшиеся очень славенькими, и одна — тоже ничего себе! — пацанка, а просто была некая туманная среда, пар. Впрочем, один из пультмановских принцев подошел ко мне и протянул вафлю: «тшимай, мала».

За весь наш путь впервые я пригляделась к Лиде и Лиле: волосы развились и отросли, лица не первой чистоты — вагонная копоть въелась во все поры, ремешки на сандалиях порвались. Себя я не желала со стороны разглядывать, да я и не шла в расчет, «госпитальный младенец», от-

нюдь не барышня. Из чувства противоречия взяла у проводника ножницы и в туалете перед зеркалом обрезала волосы «под горшок».

7 августа 1941 г. Наш проводник Расманкул — толстый и усатый. Живет в Ташкенте, в районе Алмазар 1. Дядя Лёва обследовал его в служебном отсеке. Выписал рецепты и диету. Проводник гладит меня по голове и приговаривает: «Сызыке бола?» И смеется: «Йокок-йок, якши кызым!» Что означает: «Может, ты мальчик? Нет, нет, ты хорошая девочка!»

8 августа 1941 г. В наш вагон вошел казах. Со станции Кзыл-Орда. Такая жара, а на нем стеганое пальто. Полосатое, вроде халата. И белая войлочная шапка. Длинные обвисшие усы, бритая голова. Соседи по вагону спрашивают: «Маржа бор?» И казах смеется, узкие глазки ускользают, — как щелочки в щеках. «Бор, бор!» — отвечает. И оба смеются. Пассажир и казах.

...Это — попытка завязать беседу. «У тебя есть жена?» — «Есть, есть!»

Вот такие первые шаги в познании нового мира, в котором нам предстояло жить не один год, хотя тогда мы о том еще не подозревали. Теперь, когда бомбежки уже не угрожали, неся в себе многолетний запас оптимизма, возвращенного беззаботной жизнью, мы рассматривали это путешествие скорее как покорение неведомых земель этими любознательными туристами и вот знакомились с одним из туземцев.

Сейчас, по прошествии более полувека, еще и еще раз убеждаюсь: высокомерная европейская культура несластаема с многотысячелетней, созерцательной, многослойной психологией Востока, хотя по диалогу «Маржа бор?» — «Бор, бор!» — кто бы догадался?

Мы рассматривали казаха — так нам казалось. На самом же деле он рассматривал нас и, видно, невысоко це-

нил,
отве
плут
пере
иног
изой
торо
ет т
то м
той
дала
ли.
бавл
беже
от н
зрен
и по
наш
не у
роф
ких

На
дете
лись
дем
пред
гда

13
день
Пото
сико
маш
Берл
век»

...
брат
Один
ра. Д
ней.
лет
стор
брат
жалу

Се
с бе
«бол
ге. С
захо

нил, снисходительно и терпеливо отвечая на бессмысленный вопрос и плутовато посмеиваясь, как будто наперед знал все, что с нами, детьми иного климата и иных нравов, произойдет на этой суровой земле, в которой жить да жить, пока она признает тебя своим и перестанет отпугивать то малярией, то москитами, то просто той голодухой, которая нас еще ожидала впереди, но мы об этом не ведали. И потому диалог всех очень забавлял. Но мы были не туристы, а беженцы, и старый казах в отличие от нас знал об этом. И, может, прозрением, даренным безмолвной степью и поющими песками, уже читал на наших лицах, что мы обречены если не упасть где-нибудь у арыка от дистрофии, то хоронить кого-то из близких в марлевом саване.

Но мы, не ведая о том и прозрением детей Востока не обладая, радовались, что не бомбят и что скоро «будем на месте», впрочем, очень смутно представляя, что имеется в виду, когда с надеждой говорят «на месте»...

13 августа 1941 г. Сегодня, в мой день рождения, прибыли в Ташкент. Потеряла одну сандалию. Пойду босиком. Завтра будем разыскивать Семашко. Родители знакомы с ним по Берлину. Говорят — «большой человек».

...В Ташкенте наводили справки. Да, братья Семашко, кто же их не знал? Один даже был кем-то вроде министра. Да, в самом деле жилал за границей. Где теперь? Ну, знаете, столько лет прошло (собеседники куда-то в сторону отводили глаза) — но вот его брат — тот ректор мединститута, пожалуйста — адрес, телефон тоже.

Семашко-брат, похоже, от встречи с берлинскими знакомыми бывшего «большого человека», был не в восторге. Однако, разговорившись с отцом, захотел встретиться вновь. Пригласил

отца в мединститут, предложил кафедру. Вечером, в глиняном домике Расманкул-ака на Алмазаре 1, среди розовых кустов в цвету, отец сделал сообщение: вот, кафедра, квартира...

Дядя Лёва — сделал свое: пока некоторые ошивались по высоким чинам, скромный труженик получил далеко не веселые сведения. Госпиталь, хоть не в кишлак загоняют, но город Наманган тоже, наверное, не Париж. Так что каждому — свое. Он, конечно, понимает разницу: рентген, перспективы, новые методы лечения... Куда ему, рядовому терапевту, до отца! Так что пусть отец учит студентов, а он будет лечить раненых. Надо же кому-то и лечить...

И тут мама бросилась к Лиле: «Чтоб я разлучилась с семьей моей единственной погибшей сестры!» При этом отец с дядей Лёвой не только друзья со школьной скамьи, но и двоюродные братья. В голос ревели мы с Лилей. Вопрос решался раз и навсегда: что бы с кем ни случилось, никогда не разлучаться, потому что в такой заварухе разъедешься на день и не съедешься вовек.

Словом, мы собрали пожитки — да, да, мы в пути как-то незаметно обросли пожитками! — Расманкул-ака с семейством напекли лепешек, притащили корзину с персиками, гранатами, урюком и на прощание угостил таким пловом, какого мы потом и во сне не видывали. «Ешь, кызым, ешь мой кичи бола! — приговаривал Расманкул. — Рис, настоящий ханский рис, берегли на свадьбу сына. Ну, Аллах дал — аллах взял, амин облоакбар!» — проводил он ладонями вдоль щек и бороды в смирении перед небом.

Так мы отправились в Наманган во славу родства и дружбы, что, как известно, единственно незыблемо в зыбком мире...

ОТГОЛОСКИ «ОПАСНОГО» ПРОШЛОГО

Думаю, каждый, кто честно прожил 4 года эвакуации в далеком тылу, достоин всяческого уважения. Ибо, помимо трудовых подвигов на военных заводах, в шахтах, в колхозах, был и еще один — преодолеть болезнь бездомности и потерю корня. Жизнь складывалась фантастическим образом.

20 сентября 1941 г. Мы в Намангане. Мать и отец работают в госпитале. Я хожу помогать маме. Нянечкой не берут по возрасту. Живем в Старом городе, в узбекской семье.

...Мы честно вживались в новый мир, в котором нам предстояло жить и который принял нас родственно, с преувеличенным на европейский взгляд, гостеприимством, которое только несведущим казалось преувеличенным, на самом деле оборачивалось истинной — но иной, восточной, нам недоступной — деликатностью, вышестоявшей тысячами лет.

Впрочем, и непосредственность отношений тоже казалась странной. Случалось, во время театрального представления в городском парке, куда мы с отцом ходили по вечерам, вдруг раздавалось зычное: «Дохтур-язва-джон, килин!» Что в переводе должно было означать: «Уважаемый доктор, который лечит язвы, пойдемте быстрее». Это когда у кого-нибудь из Старого города случались приступы язвы, колики от переедания на свадьбе или поминках и по городу отряжались «нарочные» искать «дохтур-джона», который если не дома, то, конечно же, в театре.

30 сентября 1941 г. Говорят, я выгляжу на все пятнадцать. У меня даже появились поклонники. Поливальщик улицы Алим-джон и потомственный врач, папин коллега, физиотерапевт Евгений Висельский. Он настоящий красавец. Потомок обрусевших,

сто лет назад сосланных поляков.

...Алим-джон, друг детства Сабир-джона, сына наших хозяев, в отличие от последнего, ставшего учителем, остался в своей «естественной нише». Он три раза в день поливал улицы, ему за это платили, он не был честолюбив, но зато истый романтик. Стоило мне открыть калитку — деревянную, украшенную затейливой резьбой, с медным литым кольцом-колокольчиком, — как он появлялся из соседней калитки (дома стояли друг против друга в узеньком уличном тупике) и выпускал с ладоней мне навстречу парочку сизых горлиц — достопримечательность тех мест, — ничуть не подзревая, что к птицам у меня почему-то такое же неприятие, как у иных к мышам. Я отскакивала — он принимал это за стыдливость или кокетство, и назавтра встреча с горлицами повторялась, впрочем, как и послезавтра и во все прочие дни, пока мы не покинули Старый город.

К отцу в госпиталь я навещалась часто. Санитарка улыбалась: «вот папкина дочка пришла!» Рядом с папиным кабинетом — кабинет Висельского. Как-то он вовремя появлялся, стоило мне подойти к папиной двери. Статный, чуть полноватый, голубоглазый, с волнистыми каштановыми волосами и очаровательными — как я сейчас помню — родинками у глаз и в уголке рта, он мягко улыбался мне навстречу. «Пошли ко мне работать, панночка. Хотя куда там, вы еще маленькая — растите скорее большой-большой», — подначивал он.

20 октября 1941 г. Шутки шутками, а с Висельскими мама и папа сошлись домами. Мать Евгения Михайловича — Генюся, меня жалует, а Лиля подбедает: «Все! Быть тебе за поляком. Хоть он и старый для тебя». И правда — 27 лет, подумать только! С Висельскими мы ходим в театр и на концерты в городской парк. Генюся под-

ставляет мне руку калачиком: «Позвольте, панночка, предложить руку и сердце!»

...Пройдет много месяцев и как-то в новогодний вечер я подойду к дому Висельских — просторный особняк с крыльцом, верандой, двумя флигелями, чем-то напоминающий дом моего детства, — остановлюсь в нерешительности у дверей, позвоню.

И откроет мне Евгений Михайлович, взглянет удивленно незабудковыми глазами, чуть дрогнет родинка в уголке рта: «Что тебе, девочка? Не годится ночами ходить одной. Смотри, так можно плохо кончить!» — глаза же его, незабудковые глаза, пристально, осудительно и раздевающе меня оглядят. Где-то за спиной, из комнаты, послышится голос его матери: «Генюсь, кто это? Пригласи же войти...»

Но приглашать уже некого. Я прямо-таки слетела с крыльца почтенного дома почтенных старожилов города, врачей Висельских. Посмел бы он, красавчик Генюсь, так меня разглядывать... Посмел бы «на ты» со мной разговаривать! — кипела я тогда, — если бы отец был с нами!

13 ноября 1941-го отца арестовали. Просто он не вернулся вечером домой из госпиталя. Мы с мамой уже начали тревожиться, но тут к нам зашли двое в штатском — привел их Сабирджон, бледное лицо его казалось в сумерке голубоватым. У нас произвели обыск. Ничего не нашли. С удивлением оглядели нашу опрятную, но довольно-таки убогую комнату. «А еще говорят, что ваш муж шарлатанил, по-особому узбеков лечил. Не бесплатно же?» — вскинул брови один из вечерних посетителей.

Отцу грозил военный трибунал. Следователь, бывший его пациент, по былой признательности сообщил: «В военкомате групповое дело, а ваш отец в комиссии по призыву, так что...»

5 февраля 1942 г. Суд почему-то

назначили на 10 часов вечера. Бедная мама лежит почти без чувств. Днем узнала, что будут судить. У меня — план: увидеть отца, когда его привезут. Тихонько уйду из дому, мама и не заметит. Она как будто в шоке. Суд — в одноэтажном особняке, бывшем доме градоначальника. Ночи душные — окна наверняка распахнуты. В такой час на улицах — ни души.

...Вдоль квартала по тротуару перед особняком курсировал молоденький паренек — охранник с винтовкой. Очевидно, считалось, что к зданию суда подходить и близко не полагалось. Я встала на углу, но когда привезли отца, так и не увидела. Тогда подумала, что, может, из окон хоть голос его услышу. Казалось, дело нетрудное. Когда охранник отмарширует к концу квартала, босиком тихонько подберусь к окнам и постою, послушаю. А когда увижу, что он вот-вот развернется лицом ко мне, убегу. Так и сделала. Отца я не слышала. Но зато с изумлением узнала страстно-обличающий знакомый голос — да ведь это Фридман! Так, значит, обернулась для отца фридмановская афера с багажом эвакуированных госпитальных врачей.

От удивления замешкалась и не уследила, когда охранник дошел до конца квартала. Он обернулся, я стояла под окнами. «А ну, марш, пацанка!» — крикнул он, впрочем, довольно добродушно. И я пустилась наутек. Споткнулась, упала. До сих пор на обоих коленях шрамы — разбилась чуть не до кости. Когда вернулась домой, казалось, мама спала. Я не стала ее тревожить — тоже легла.

8 февраля 1942 г. А у меня поседели волосы. Наверное, я испугалась. Говорят, после бомбежек у многих так бывало. От страха.

...Наутро после суда, когда я проснулась, мать сидела у стола с поседевшим лицом, подперев подбородок сухонькими, почти детскими кулачка-

ми — такая она была, моя мама, «мать-девочка», — а на керосинке выкипал чайник. Я выпросталась из-под простыни и собиралась рассказать про вчерашнее, и тогда она не то всхлинула, не то вскрикнула: «Что у тебя с волосами?» Много позже, когда все вошло в колею, отец вернулся и ничточки оборванного бытия кое-как, не так, чтоб узелок в узелок, а соби-ались-связывались, седые пряди в моих волосах даже стали для меня предме-том особого кокетства. А когда на экранах появился китайский фильм «Седая девушка», мальчишки меня так и окрестили. Но это было много-много позже, пока же отец сидел в одиночке, хотя уже стало известно, что расстрела не будет. Ему присуди-ли пять лет лагерей — небывало мяг-кий приговор по тем временам. На-столько, видно, мифическим было об-винение — ничего так и не удалось склепать до уровня «полновесной» кары. Все это мы узнали от того же следователя — «язвенника», вылечен-ного отцом. Его же стараниями отца никуда не увезли из Намангана. «Та-кой врач и в нашей санчасти ох как нужен!» — сказал наш благодетель-сле-дователь.

* * *

Много позже, когда оглушающим и вгоняющим в оторопь шквалом обру-шится на всех нас поток разоблаче-ний, сличений, покаяний, обвинений и запоздалых прозрений, связывая об-рывки воспоминаний, пойму, что от-сидел отец свои пять лет в лагере от-нюдь не только потому, что «санчасти тоже пужны хорошие врачи», и вовсе не по роковой ошибке, после которой только и оставалось, что извиниться перед отцом, предложив ему в каче-стве компенсации «начальственную» квартиру в Ташкенте и прочие блага.

Наверное, в ином было дело. Мой отец был основателем рентгеновской

диагностики и лечения в Румынии, где мы до 1941 года жили (Кишинев, как известно, до 1940 года был румынским городом). Он окончил Одесский меди-цинский факультет, пересдав экзаме-ны на румынском в Яссах после 1919 года, был отправлен на специализа-цию в Берлин, где учился у знамени-того Левидорна, прямого ученика основателя рентгена — самого Рентге-на. Отец так и сохранил на всю жизнь лихачество и беспечность первых рентгенщиков, работал без защитных перчаток и передника («В перчатках ничего не чувствую при пальпации под экраном, да и больному больно!») и тем не менее проработал 42 года, ни-чуть не соблюдая шадящие часовые нормы современных рентгенщиков («Сколько в приемной больных — столько и принимаю» и «Не больной для врача, а врач для больного»)...

В 20-е годы рентген произвел сен-сацию. Подумать только: вы можете въяве увидеть все, что у человека внутри («включая его черное нутро» — шутил отец). Это был моднейший ме-тод диагностики, ни один уважающий себя консилиум не обходился без вес-кого слова рентгенолога, подкреплен-ного документом — снимком.

Я того времени не захватила, но отца иногда приглашали в Бухарест. Не сказать, чтобы он стал придвор-ным врачом, но и в королевской семье люди болели, как в любой другой, и рентгенолог, быстро ставший извест-ным благодаря своим безошибочным диагнозам, был во дворце нередким гостем. Отец до конца дней так и слыл «кудесником диагностики», ду-мая, во многом за счет своей особой интуиции сверхчувствительного чело-века.

Так вот — думаю, 5 лет лагеря отец отбывал за свое невольное «опасное прошлое». А может, за то, что, не за-бывая берлинской выучки, в кабинете отдавал команды ассистентам не

«включо-
«штром
был у
есть т
учени
в лаге
вызыв

20 м
ром по
с мам
повяза
придум
полнее
голода

...Пя
Окошк
цы, м
малози
парол
делени
довата
ная г
чужой
высоки
знако
красн
ские
под гу

Поз
и* моя
ла. «Р
силь?»
мной,
дает
как-то
шем
«взрос
жет,
иног
бабоч
в обо
эваку
и вов
мою м
это п
храни
ды, в
воскр
годня

«включить» и «выключить» аппарат, а «штром» (ток) и «аус». Как-никак он был учеником самого Левиборна, то есть тем самым как бы «внуучатым» учеником великого Рентгена. Кстати, в лагере такой способ команд даже вызывал к нему уважение...

20 марта 1942 г. В воскресенье утром пошли на свидание с отцом. Мы с мамой стояли перед окошком, туго повязанные платками. Это мама так придумала: «Чтобы лицо казалось полнее, а то отец посчитает, что мы голодаем».

...Пять окошек — пять очередей. Окошки открываются, за ними — отцы, мужья, братья. Слова — пустые, малозначащие. Маленькие семейные пароли, понятные только двоим, разделенным решеткой. Отец небрит. Седоватая щетина старит его. А стриженная голова тоже поросла странной, чужой щетиной. Голова лобастая, с высоким куполом темени — чужая, незнакомая. «Свои» только глаза. Прекрасные зеленовато-прозрачные отцовские глаза, привычно глядевшие из-под густых бровей.

Позднее отца перевели в Маргелан, и моя мать тут же за ним последовала. «Кто ему будет передачи носить?» — всхлипывала, прощаясь со мной, как бы в оправдание, что покидает меня. Но после ареста отца уж как-то само собой повелось, что в нашем общении «дочки-матери», роль «взрослой» она уступила мне. А может, не она — время. Она была дитя иного, беспечного века, века женщин-бабочек, меня же война успела взять в оборот, окунув в жестокую купель эвакуации, а после той судной ночи я и вовсе позволила себе «перерасти» мою маленькую маму. Она сначала в это не верила и стойко пыталась сохранить семейное лидерство. Однажды, в базарный день, то есть ранним воскресным утром, объявила, что сегодня пойдет «коммерцовать». Это

слово у эвакуированных было в ходу — звучало пристойнее, чем тривиальное «торговать». Собственно, торговать у нас было нечем, поскольку эвакуировались мы без вещей. По той же беспечности и то, что случайно оказалось при нас, было самого несолидного, даже легкомысленного свойства. Почему, например, в дорожной сумке матери оказались две тончайшие искуснейшей работы ночные сорочки? Они были похожи на вечерние платья и были проданы как таковые в Наманганский театр. Или, например, — две голубые пуховки для пудры из натурального гагачьего пуха с ручкой из перламутра?.. Или, скажем, крохотный дорожный будильник в серебряном корпусе?

Итак, как-то в начале декабря в базарный день в доме у нас было решительно нечего есть: хлеб успели отоварить по карточкам вперед, так что «коммерцовать» была прямая необходимость. «Потерпи до вечера, — наказала «моя маленькая Софи» (так я ее теперь про себя называла). — Зато я куплю ширман-нон и для тебя петушка на палочке. Ну и щепки, конечно». Сдобная лепешка ширман-нон, а тем более леденцовый петушок стоили терпения, и я стойко взялась плести мешок для хлопка. Мы с «маленькой Софи» в ту пору подрядились в артели плести такие мешки из толстых хлопковых же веревок и плели их поочередно, по пять часов в одну очередь. После ареста отца Софи пришлось из госпиталя уйти — ее зашпыняли мелкими придирами, никак не высказывая открыто, что просто боялись ее присутствия — жены «врага народа», и она, гордо вскинув голову, ушла из госпиталя в никуда. Плести мешки. «Ниже некуда, отсюда уже не попрут», — торжествовала Софи с таким видом, будто не ее, а она всех наказала и провела. Притом, что за эту работу никто не брался. Руки

изрезывались в кровь, а оплата—копейки. Но—рабочая карточка 600 г хлеба—не находка ли? И работа на дому. От неласкового мира подальше.

Итак, в тот день я записала: «В сумерки вернулась моя Софи. Никаких вкусовостей и в помине нет. И щепок для растопки тоже. Тряпочный мешочек с «товаром» так и остался полным».

...«Ну хоть бы один человек подошел!—чуть не плача рассказывала моя маленькая мама.—Я будильник заводила каждые полчаса. Такой хрустальный звон... И хоть бы кто остановился. На пуховки вообще сперва не смотрели. Я уже собралась уходить—одна, вся в золоте, нос картошкой, щеки как у бульдога!—берется за пушок. «Что с ним делать?»—спрашивает. Повертела-повертела, а не взяла. Чуть ручку не сломала».

Нет, не умела моя бедная Софи торговать на рынке.

И вообще решительно не везло ей в ту пору. Когда она уходила из дому за мешками ли, на базар ли за покупками, на душе у меня всегда было неспокойно. И не напрасно.

Однажды является вся в слезах: «Представляешь, какая-то комиссия, американская или еще какая, приехала проверить, как живут эвакуированные, так с базара милиция согнала всех плохо одетых, прямо кулаками пихали, один—такой скот!—даже рукав на пальто у меня порвал».

...О, это дивное в былые дни пальто, нежно-кремового цвета, пушистое и легкое, колоколом ниспадающее с плеч по тогдашней моде,—выглядело оно ко дню означенной облавы весьма жалко. А если еще представить давно потерявшую цвет и изорванную розовую шаль, что-то вроде опорок на ногах и глиняную зеленую крынку с веревочными ручками—вдруг перепадет в местной столовой жиденский суп,—такой вид никак не говорил о

благоденствии эвакуированных. В чем, как теперь стало известно, наши правители заверяли зарубежных гостей, предлагавших постоянную помощь. Эта помощь высокомерно отвергалась—вопреки безропотно лежавшим у заборов мертвым дистрофикам, ожидавшим, когда их увезут в морг, вопреки облавам, загонявшим таких, как моя плохо одетая мать, от сторонних оценок подальше. Мы-де сами справимся. Народишка хватит. Одних морги примут—другие народятся. Народ—живучий. Это я теперь так думаю, тогда же я записала:

20 декабря 1942 г. Бедная, маленькая Софи! Моя красная мама, похожая на бабочку. Я помню, как знаменитая Елена Григорьевна шила тебе это пальто по парижским выкройкам. Ты так этим гордилась...

Вскоре Софи уехала в Маргелан к отцу.

МЫ И ПОЛЯКИ

...Ах, поляки, поляки, загадочное «государство в государстве» эвакуационной поры! У них была своя больница, своя школа и детский сад. У них был свой детдом. Их женщины были элегантны и душисты. Их мужчины—гладко выбриты и галантны, у них было свое кафе, куда мы, прочие, могли только мечтать заглянуть. Поляки были под покровительством так называемого «Джойнта»—американского благотворительного общества. Два раза в год каждый получал полное «обмундирование» по сезону и ежемесячные пайки в больших картонных коробках, которые они тащили из делегатуры зимой на детских саночках, распаяя наше воображение. Шоколад, джем, тушенка, консервы—господи, чего, наверное, только не было в этих ящиках!..

Они даже заводили романы, поляки, им было до романов. У Антонины

Ивановны, под дверью которой в проходном коридоре я квартирую, обитал такой пан Тирель со своей сожительницей Мирой. Говорили, что он увел ее от супруга и что супруг даже вызывал его на дуэль. Да, да, на настоящую дуэль, причем на двоих у них был один дамский пистолетик, чудом уцелевший у Миры после всех превратностей судьбы. Тирель и Мира ко мне благоволители. Нередко Антонина Ивановна говорила, многозначительно качая головой: «Ох, девка, своего счастья не понимаешь! Замарьяжила бы, девка, поляка. Они подросточков любят, вот тебе и пани!» Но я не хотела никого «замарьяживать», и потому мы с Алексеем Ивановичем, вторым обитателем коридора, умеренно экспроприировали Шарика. Мы его любили, Шарика, нашего кормильца. В его плошке часто оказывалась такая вкуснотища, что нам с Алексеем Ивановичем и снится перестала. Он караулил милостивую для него дверь и за то получал награду. Мы же к двери отношения не имели. Поначалу Шарик протестовал—собственник, весь в хозяйку, Антонину Ивановну. Потом понял, что мы можем поделиться с ним теплом собственного тела. Это его устраивало, и он тоже полюбил нас—почти бескорыстно.

7 мая 1943 г. По утрам иду на работу и по дороге жую репу. Почти каждый день встречаю Рони Стронского, эвакуированного эстонца,—какая-то у него бронь. Дружит с поляками и потому всегда при шоколаде. Так и норовит угостить.

...И вот Рони Стронский пригласил меня в кино. Я у Алексея Ивановича отпросилась—всегда ему докладывала, куда, с кем, зачем иду. Пошла. Рони повел меня на фильм «Маскарад». Вальс, не Хачатуряна (тогда знаменитого, хачатуряновского, и в помине не было), другого композитора, кажется Пушкина, потом долго и не-

чально вспоминался мне, почему-то вкуче со школьным балом в последние предвоенные дни. Но вальс—это было потом. Пока же мы сидели в «летнем зале», то есть под открытым небом; кругом тополя, в воздухе горьковато и стойко пахнет миндалем. Я смотрела на демонически прекрасного Мордвинова-Арбенина и втайне гадала: пригласит ли меня Рони в чайхану или на шашлык. Потому что, если нет, вся затея с кино теряла смысл. Ужин в чайхане—это на целую неделю подмога к каждодневному рациону «суп за рупь». Не мог Рони не пригласить, он же упивается тем, что может передо мной шиковать. Но я прогадала. После кино, галантно поддерживая меня под локоток (чего я терпеть не могла), он вел меня по аллее к выходу. И тут на грех попалась тетка с корзиной роз. Он эти розы закупил оптом, и с корзиной, и преподнес мне на глазах, что называется, у изумленной публики—в те годы мало кто кому дарил цветы. Это были повадки избранных, которые почему-то еще могли позволить себе строить отношения по довоенным прописям. Розы меня не то что не обрадовали, просто я прикидывала, после такой поэзии хватит ли у Рони денег на чайхану. Денег у него хватало, соблазнительности—нет. И потому, купив около входа в парк пару большущих яблок, «на дорожку», он повел меня домой. В общем, плакал мой ужин. Правда, еще была надежда на шоколад, которым у Рони набить карманы. Шоколадом он меня угостил.

10 августа 1943 г. Ушла из артели. Надоело раскрашивать косынки. Устроилась работать на консервный завод. Пришлось соврать—сказала, мне 15. Иначе не брали. Не очень поверили, а все же взяли. На завод эвакуированные стремятся. На территории можно есть урюк и даже сахар. Сколько хочешь. Только чтоб с

завода не уносить. А завод — напротив дома. Только в первый же день меня стошнило от запаха урюка и сахарного сиропа. Запросилась в ночную смену помощником истопника. А мне все равно завидуют. В заводском ларьке иногда выбрасывают кости. Чисто обструганные, как будто отполированные, — остатки от мясных консервов, что вырабатывают тут же, в «закрытом» цеху.

...И тогда перед ларьком выстраивались чуть не на квартал и более очереди. Бывало, кто-то в очереди чуть пошатнется, за стеночку подержится и — упадет. Не раз видела. Пали дистрофики. Их сразу же узнавали по опухшим лицам и, особенно, ногам. Упадет такой и, бывает, уже не поднимается. Но все соблюдают очередь, и к нему никто не подходит. Не от жестокосердия. Просто люди знали — помочь уже не можешь, а из очереди вытуют — сам, глядишь, на улице уляжешься. Что будет с дистрофиком? А ничего. Все, что могло быть, было. Ему уже лихो ни по чем. Пройдет милиция — увидит, распорядится, увезут его в морг и дело с концом. Так что завидовали мне не зря на невидную мою должность.

2 сентября 1943 г. Бросила школу. Днем от завода сгружаю доски на вокзале. С завода уходить не хочу — завод работает на войну.

...Патриотизм в ту пору не вызывал улыбок — какая-де наивность. Мы верили в миссию России: спасти мир от фашизма. Мы готовы были к жертвам. И посылы их приносили. Впрочем, сейчас все это звучит, наверное, странно. Что поделаешь, я страшно консервативна и честно в том признаюсь. Всякие «затертые» слова: любовь, верность, долг — не теряют для меня первоначального смысла. «Плохое», в смысле старомодное, восприятие сказывается, не иначе...

13 декабря 1943 г. Минула осень,

теперь живу у Миликентьевны. Миллица Иннокентьевна Павлова — учительница литературы. У нее умер отец, и она взяла меня к себе. К Новому году она уехала до весны в Ташкент к сестре.

...Одинокие потянулись вечера. Теперь вечерами могла читать. Хотя при коптишке читать было тяжело, к тому же беречь надо керосин, — но я читала. Я думаю, именно это спасло меня от болезни бездомности, которая губила безжалостней, чем голод, холод и малярия.

...Коптишка. Славное изобретение военной поры — пузырек с водой, сверху на палец плавает масло, фитиль из крученых ниток, пропущенных через жестяной кружок, и — да будет свет. Коптишка, слава тебе!

При неверном твоём золотистом мерцании рисовала стенгазету для польского детдома — «царский» заказ, полученный через того же Рони Стронского. Стенгазета — рождественская, с Дедом Морозом. Я увлеклась и от усердия опрокинула тебя, шаткая коптишка, после чего борода Деда Мороза распушилась до невероятных размеров — прикрыть надо было масляные пятна. Помню, когда миловидная девица в модном тогда тюрбане поставила передо мной три банки американской тушенки и пачку галет, я стояла в ошолобленности — вдруг раздумает: масляные пятна заметит.

Это ты, коптишка, слава тебе, светила, бодро подмигивая, когда я, читая про то, как король Карл Великий, по замыслу Гауптмана, велел посадить под окном возлюбленной мальвы, заканчивала вязать шерстяную кофточку для жены профессора Иоффе из Ленинграда. Кофточку я закончила в срок, к Новому году, и понесла заказчице. Большое гостеприимное семейство жило в просторной квартире, в доме пахло по-предвоенному корицей и свежей стиральной, стол был

накрыт к обеду. Меня настойчиво усадили обедать, и тут я обнаружила, что голодный слишком громко глотает. Хочешь глотнуть нормально, а кажется, слышно на всю комнату. И еще — в тепле нос отсырел, а платка я с собой не взяла, так что пришлось деликатно мизинчиком манипулировать около поздней, чтоб и прилично, и не мокро.

Уют в доме Иоффе разбредил постоянно дремавший в моей душе, как и в душе каждого эвакуированного, вирус бездомности. И я решилась еще на один визит, на который почему-то возложила тайные надежды.

Визит к оседлому особняку врачей Висельских, как уже сказано, не удался. Если считать неудачей урок смирения, преподанный мне без всякой деликатности деликатнейшим красавцем Генюсем Висельским... А когда-то Висельские дружили с нами домами и мама красавца и сердцеда Генюся подарила мне гранатовые бусы. Но это было страшно давно, два года назад, когда отец еще был с нами.

5 февраля 1944 г. Видела странного поляка. Оборванец, передние зубы выбиты. Попросил хлеба. У меня было яблоко, я отдала. Он сказал: мы еще встретимся. Такой жалкий.

10 марта 1944 г. Встретилась с тем поляком. Я устроилась нормировщицей на стройку — обходила утром и вечером, отмечала, кто есть — кого нет. Пришла домой, хватилась хлебной карточки — стацили из кармана. Если бы не поляк — хоть пропадай.

...Что такое потерять карточку, описывать не берусь, кто пережил эвакуацию — поймет, кто нет — тому не объяснишь. И отправилась я на наш гранд-базар (так его отец прозвал). В надежде наняться таскать лотки с хлебом в ларек. Плата хлебом же. На несколько дней хватит, а там видно будет. В общем сию на рундуке —

тошно мне. Еще не жгучее, а ласковое солнце вполне равнодушно на меня взирает с небес, где, по воображению маленькой Софи, бытовала уйма радужных предопределений в отношении меня, а над базаром упоительный аромат печеной айвы, бухарские еврейки мастерицы ее готовят. Деликатес. И всего — 1 рэ. Если его иметь. И вдруг подходит ко мне этаким щеголь, в самомоднейшей тройке. Я его только по выбитым зубам и узнала. Подходит и говорит: «Девочка, ты мне дала яблоко, когда меня из лагеря выпустили, я голодный был, как волк, до своих еще не добрался, а я тебе подарю конфетку» — и протягивает шоколадку в золотой фольге. Не выдержала — разревелась. Мне бы шурпы горячей — а мне розы дарят, мне бы хлеба пайку — а мне шоколадку. Не знаю, как получилось, только я этому Кубе Жабнеру все свои обиды сразу выложила. Он повел меня в делегатуру, представил. Словом, оказалась я при карточке, и не просто, — а 800-граммовой, и при двух буханках белого хлеба, который Куба нес в вязаной модной сумке — мне тоже ее подарили. Я ему рассказала про отца, он мне — как его с родителями в 1939-м из Львова выслали в лагерь. Родители погибли в пути, а летом 1943-го его выпустили, вот он и добирался как мог, с дальнего Севера в Среднюю Азию, притом в областной центр, где есть делегатура. А зубы... что вспоминать, мол, ясно, лагерь не курорт. Так мы подружились, и потом Куба чуть не до конца войны по-братски меня опекал. Разве забудется такая дружба?

Вскоре я уехала к маме в Маргелан.

НАШИ «АВАНТЮРЫ»

30 апреля 1944 г. Сидим с мамой — тужим: как отцу передачу собрать к 1-му Мая. Сидим, кофточки вяжем.

Один рукав — она, другой — я. На заказ. Но деньги-то когда еще будут.

...И тут через открытую дверь влетает кот, волоча большущий кусок мяса — стащил, значит, где-то, успел. Мы к нему — кот в испуге «сплевывает» мясо и в открытое окно напротив двери — шасть. И начались у нас с мамой муки совести. Мясо — краденое. Но у кого? Не бежать же на улицу: «Граждане, у кого мясо кот стащил?»

Граждане потом нашлись. Оказалось, сосед-узбек в саду беседовал с гостями, а жена — зевнула, и будущий плов угодил к нам. Нет, мы мясо не отдали. Вот так. Просто не могли его отдать. Нам нужна была передача для отца, и мы поступились совестью, успокаивая себя, что, если расскажем, сосед убьет кота. Мясо мы варили ночью, в комнате, задыхаясь от жары, на керогазе. Во дворе на кирпичах нельзя было: сразу обнаружится, что мы — соучастники кота. Мы еще и окна закрыли — запах, невообразимо соблазнительный по тем временам запах, живо привлек бы внимание к нашим ночным деяниям — не те мы люди, чтобы у нас в доме мясо варилось...

13 августа 1944 г. Сегодня повезло: папка опять гостил у нас. Целый день. И как раз в мой день рождения. Сказал: «живете в вокзальной обстановке». Добыл в лагере два тюбика масляной краски, черной и коричневой. Притащил с собой — мне подарок — и изобразил чуть не во всю стену сцену из Дон-Кихота: на постоялом дворе у колодца долговязый Дон-Кихот, Санчо и «веселые поселяне». Вечером зашел Кор-ака, наш хозяин, и плюнул через плечо: «Ой, бай, какой пакость! Разве можно человек рисовать? Шайтан, тьфу!» И забелил отцов труд.

...Не записала в тот день куда более смешное. В Маргелане мы с матерью снимали вместе с галошницей

Цилей из Дубосар (заливала клеем галоши — ценнейшая в войну специальность!) и с ее двумя сыновьями угол на постоялом дворе у Кор-ака, маленького, сухонького, скрюченного подагрой, который только одно существо на свете и любил: свою козу Гюльзу. Это мне тогда так казалось. После конца войны узнала: потерял на фронте трех сыновей чуть не в первых боях около Бреста.

А было так: отца из лагеря часто посылали в город на консилиум, когда болел кто-нибудь из высокого начальства. Отец в сопровождении стража с винтовкой шествовал по городу, ставил диагноз, после чего его отводили обратно. Отец был на каком-то странном положении в лагере. Либо всем было ясно, что нет на нем никакой вины, либо был он очень нужен как врач, только жил он в лагере в отдельной клетушке около своего кабинета в санчасти и всякий раз, когда его водили в город, заходил к нам, вместе со стражем, и гостил целый день. А еще он лечил начальника лагеря от язвы и потому столовался из начальственной кухни. Так что иногда не мы ему, а он нам передавал булочку или конфетку и приходил к нам тоже с гостинцами.

Итак, в мой день рождения стражник-узбек, который привел отца, сказал, что у него неподалеку живет брат, выдает дочь замуж, сегодня свадьба. Так что он сбегает к своим, навестит. А к вечеру зайдет и отведет отца в лагерь. Винтовку, чтоб не мешала, оставил у нас. Мы провели прекрасный день, незаметно настал вечер, а стражник все не шел. Мы с мамой, а потом и отец, пошли узнавать по соседям, где это сегодня свадьба неподалеку. Узнали. Стражника нашли. Только он был сильно навеселе. Взял винтовку, протянул отцу: «Держи, дохтур! Ты человек якости — честный. Давай води ты меня.

А не дойду — мне голова секир». Не знаю, как уж потом по дороге они разобрались, но никогда не забуду, как отец с винтовкой выходил из ворот, ведя перед собой стражника и тихонько подталкивая: «Держись, Алибек, а то пропадем на пару!»

Пропасть они не пропали. Назавтра отправилась в лагерь разузнать, что к чему. Семь километров вдоль мягко шелестящего арыка под сенью урюковых деревьев, что росли прямо по обеим сторонам дороги. Для виду, чтобы было что передать отцу (как пароль — я, мол, здесь, проси свидания), набрала полную сумку урюка. Падалец лежал под деревьями и, если вымыть, очень прилично выглядел. В тот день я прошла к вышке, меня давно уже знали, ходила через каждые два дня, и дежурные, увидев, кивали: сейчас, мол, сообщим. Каждые полгода они проходили медпроверку и отца уважали. Пока отец появился в клетушке под вышкой, я спасалась от жары в деревянных пустых бараках, что совсем недавно возникли около лагеря. Именно возникли. Произошло это как-то незаметно. Чуть ли не в одну неделю появились два длинных саманных строения с маленькими окнами и двумя дверками с торцовых сторон.

Я привычно пошла к баракам — двери оказались завешены пестрыми платками. Нырнула под платок — а там битком набито народу. Старики, женщины, дети. Множество детей. На нарах и на полу — многие в бреду. Этот бред я хорошо знала. Тропическая малярия, бич Средней Азии той поры, не минула и меня, и кабы не сердобольные поляки, век бы мне не уйти из этого наманганского проходного коридора, кроме как по пути дистрофиков, которых подбирали на улицах. Поляков снабжали лекарствами, у них были свои врачи, так что меня выправили. Но симптомы тропи-

ческой малярии запомнились навеки.

...Ко мне кинулись женщины, совали в руки письма и деньги. Некоторые, с сильным акцентом, но прилично говорили по-русски. Крымские татары, поднятые буквально в одну ночь и вывезенные в ссылку в теплушках, — вот кто они были. Они просили бросить письма в почтовый ящик, просили купить хлеба и молока. Они просили привезти врача.

Отцу я рассказала о больных. Он велел подождать. Вскоре вынес коробочки с акрихином и плазмочитом, рассказал, как лечить. И еще — завязанную в платочек, передал мне горсть леденцов. Уже вечерело, и паренек на вышке крикнул остерегающе: «Булде инде!», что означало «Хватит!» И только я собралась уходить, окликнул: «Эй, кыз тохта!» Подожди, мол, девочка.

Потом вышла ко мне женщина в белом халате, может быть повариха, а, может медсестра. Буханку белейшего хлеба, невиданного нами вот уже сколько лет, завернутую в вафельное полотенце, отдала мне, кивнув на бараки...

Вечером мы с мамой решили: поскольку она работает хинизатором от поликлиники (была в ту пору такая работа, два раза в день, утром и вечером, разносить по шелкоткацким артелям хинин и прочие лекарства от тропической малярии), устроиться и мне на такую работу. Мы с ней решили взять шефство над теми бараками, и через два дня я уже обходила «шелковые цеха». Хинин пили неохотно, приходилось уговаривать, объяснять, и все-таки многие так и не пили. Так что, как мы и думали, каждый день у нас оставались таблетки. Три раза в неделю в бараки ходила мама, три раза — я. Но главными были даже не таблетки. Письма, вот что больше всего требовалось жителям барака. Многим — письма на фронт. Написать

и отправить. Недолго продолжалось наше «шефство» над жителями бараков. Вскоре их обнесли загородкой и около входа встал часовой.

15 сентября 1944 г. Сегодня базарком попросил осмотреть его внука. Считает, что я врач. Говорит: твой отец дохтур, ты—дохтур-кыз. Пришлось идти. Решила, если температуру, дам аспирин.

16 сентября 1944 г. Была у базаркома. У внука спала температура. Вчера кашлял, чихал. Я давала по четверти таблетки три раза в день. Я так подумала, что по весу внук будет с нашего Боба, когда тот был маленьким, а отец ему давал лекарства по четверти «человеческой таблетки».

17 сентября 1944 г. Внук выздоровел. Сегодня утром пришел базарком—ох, и испугалась же я, вдруг, не дай бог, что не так!—и притащил две корзины с лепешками, гранатами, виноградом, персиками и блюдо плова.

...Когда базарком ушел, моя маленькая Софи, грозно на меня наступая, спросила: «Ну?» Я рассказала все, как было. И тут случилось неожиданное, неслыханное, недопустимое в наших семейных отношениях. Софи крикнула мне: «Авантюристка! У порядочных родителей—такая дочь!» Она не плакала. Она принялась молотить по мне маленькими кулачками (перчатки ей шили на заказ,—таких маленьких, какие ей требовались, в продаже не бывало), приговаривая: «Ты—наш позор! Самозванка!» Мне было совсем не больно и очень ее жаль: такие слабенькие были ее кулачки и столь велико горе. Чтобы доставить ей удовольствие, я разревелась, наказание, мол, осознала, подействовало, а когда она успокоилась, рассказала про свои лекарственные прикидки, и она сперва расхохоталась, а потом как-то совсем для нее непривычно и очень проникновенно

сказала: «Один шаг к бесчестию—и возврата не будет».

Не помню, такими ли словами или иными, только маленькая Софи на всю жизнь научила меня тому, что есть так называемый предел, и если хоть раз его преступить...

О моей «авантюре» решено было отцу не рассказывать, хотя дары базаркома частью унесли в бараки, а частью—отцу. Впрочем, он узнал об этом «пассаже» много позже, когда вернулся домой после лагеря.

* * *

Листаю дневник вспять. Очевидно, в эвакуации более всего томила тоска по неизбежности быта. Это она, неизбежность, мерещилась мне в некий осенний вечер, когда, начитавшись и навязавшись всласть, я прикрыла было глаза, чтобы подремать при свете верной моей коптишки. Незыблемость в виде уютной и хорошо натопленной комнатки в акрихиново-желтых оборках, с настоящей керосиновой лампой на столе, где на диване из ящиков, прикрытых уцелевшим ковром, сидит золовка моего друга Кубы Жабнера Густа, искуснейшая подделка под столь известную в ту пору Марлен Дитрих: такие же прозрачно-серые глаза под мохнатыми длиннейшими ресницами, такие же нежно-розовые соблазнительные губы. Губы, чуть капризно изогнутые, требующие у супруга, брата моего доброго друга Кубы: «Лёссю, а шоколад? Я бы съела шоколадку, в пайке разве не было?»

Такой обрисовалась мне неизбежность в тот осенний вечер, и я вдруг решилась. Надела стеганку—кто бы сказал, что наши чуть не лагерные фуфайки, лишь слегка трансформированные не очень изобретательными дизайнерами, станут едва ли не последним пискom моды сегодня,—взяла

в охапку подушку: «Все-таки приданое», — подумала. И отправилась к Рони Стронскому. Да, да, к тому самому Стронскому, который всегда при шоколаде и в тот вечер, похоже, дождался своего часа. Я хотела точно так же, как Густа Жабнер, сидеть на своем диване из ящиков или чемоданов (у Рони, поди, чемоданы есть!) и капризничать: «Рони, я бы съела шоколадку...» Я хотела не думать, где достать завтра бросовую бумагу, чтобы сварить на бумажном пламени меж двух кирпичей свою кашу-болтушку из карточной муки. И чтоб у меня были чулки. Со стрелкой. Как у Густы. И чтобы на Рождество и Новый год, и на Пасху, и вообще на всякие праздники меня приглашали в польскую делегатуру, где накрывали настоящий праздничный стол. В эту волшебную делегатуру, где все — из «той» жизни. Где дамам целуют руку, а дамы моются с мылом и в пайках получают духи...

21 ноября 1943 г. Пошла к Рони Стронскому. Он столько раз меня звал и клялся в любви. И обещал настоящую «польскую жизнь», если приду к нему «в мой дом моей хозяйкой». Зря шла. Ничего не вышло. Только дуреха Лора Эрлих улила меня слезами.

...В дверь я постучала довольно решительно. Считала, что делаю Рони королевский подарок — после столько-ких домоганий изъясляю согласие и вот сама пришла. Так, что дальше, пусть сам думает... Рони открыл не сразу, увидев же меня, растерялся: «Моя прелесть! Пришла-таки!» — но не было в его голосе ликования. Так, скорее смущенное удивление. «А зайти можно?» — уже настороженно спросила я. «А я лучше сам выйду, и мы обо всем поговорим. Хорошо?»

Через полуоткрытую дверь я видела стол. Накрытый стол, за которым только что ужинали. Уютно с краю стола стоял недопитый стакан чая и

рядом — надкусанная булка. Человек спокойно ужина. Ел-ел и расхотел есть. И даже свой чай (поди с сахаром!) не допил, оставил — захочет, потом допьет. Потому что — незбылемы и стол, и стакан, и там в глубине тот самый диван...

«Только говорить нам с вами о чем? Вы же такой красивенький, такой богатенький. Да ну вас к богу, и чтоб я вас никогда больше около моего дома не видела!» — фыркнула я и убежала. Не очень быстро. Была, значит, у меня такая крохотная, тайная надежда, что Рони меня догонит.

Но Рони, похоже, догонять меня и не думал. Зато вскоре послышались быстро-быстро семенящие шажки и цокот каблучков в ночи. Я оглянулась и увидела Лору Эрлих, ту самую, которая заказывала мне стенгазету для польского детдома и приносила рождественский паек, ничуть не смущаясь неприлично гигантской бордой моего Деда Мороза.

Лора Эрлих без своего модного тюрбана выглядела уже не так внушительно. Маленькая, полненькая, глаза, подведенные зеленкой (принятая косметика той поры), реденькие, коротко остриженные волосы — нет, она была совсем не Густиной породы. Мне ее стало жалко. Я остановилась, и она ко мне подошла: «Ты меня прости, ладно? — глянула заискивающе. — Я знаю, он тебя все равно добьется. Только ты его пока не допускай. Ладно? Я немножко с ним поживу, продуктов подкоплю. Еще он мне обещал шубу. Потом — сама уйду. Что, я не понимаю? Ты молоденькая, у тебя все впереди. Тебя он не упустит. А я — так... На волосочке, еле-еле...»

Я слушала ее молча. «Так ничего и не скажешь мне? А? Ну? Не придешь больше? Договорились?» — допытывалась она. А потом потянулась ко мне, обняла, мокрым от слез лицом уткнулась в шею. Чего не терплю — дам-

ских слез. Так и ушла я в обнимку со своей непонадобившейся подушкой в тот поздний, одинокий час.

Об этой «авантюре», в отличие от акции с внуком маргеланского базаркома, отцу я не рассказала до конца его дней.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

30 июня 1945 г. Теплушка. Возвращаемся. На весь вагон одна большая кастрюля, наша. Софи отдала ее, конечно, в общее пользование. Так что сидим голодные. На станции не во что набрать ни супа, ни каши. Во сне постоянно — блюдо с пирожными. Сlopала бы дюжину и не моргнула, если бы наяву. В Саратове стояли сутки. Поезд не выпускали, пока все не пройдут дезкамеру. Билеты компостируют после предъявления справки.

...И попали мы с моей маленькой мамой в привокзальную баню при эвакопункте. Стоим под душем — вода еле сочится. Мыла, конечно, нет. Гляжу на мою бедную Софи, она за годы эвакуации стала совсем сухонькая, повернулась ко мне: «Потри мне спину». А я под пальцами каждый позвонок чувствую. И тут вдруг Софи приседает, стыдливо прикрываясь руками: «Ах, мужчина!» Да, да, женскую баню обслуживали дезинфекторы-мужчины. В белых неопрятных халатах расхаживали среди обнаженных женщин, лица замкнутые, глаза бегают. Сейчас думаю, по какой такой броне и как долго расхаживали они по вокзалам. А может, грешу? Просто негодные к фронту после ранения, мужики не при деле, надо же где-то получать свою пайку хлеба. А что при женщинах, подумашь, важность. Если по сравнению с лагерями. Военными, фашистскими и — «мирными, своими». Притерпевшийся человек на такие малости не реагирует. Так что, кроме моей Софи, в саратовском

дезпункте никто из женщин «ах!» не вскричал. Это сейчас, вспоминая и осмысливая, возмущаемся: человеческое достоинство, попрание личности! Тогда и слов-то таких в обиходе не было. Дай бог хлеба добыть, и то ладно. И точно, я не возмущаюсь. Просто вспоминаю.

...И вообще — что такое унижение? Мужчины-дезинфекторы, от которых прикроешься, присядешь на корточки, а им — не до тебя? А как же табунки упитанных круглолицых, курносеньких, сплошь в «барашковом» перманенте девчат, в таких цветастых вязких платьях, что у нас с Софи просто дух захватывало? В 40-м такой ткани еще и в помине не было, а в войну... Девчата деловито раздевались, обнажая упругое сытое тело, и складывали белье в детские коляски. Угнанные из оккупации в Германию, они сейчас возвращались, не забыв запасти впрок диво — детские коляски, сплошь голубые, розовые, салатные экипажки для детей мирной поры, чтобы возить их по уютным мирным улицам. И, боже мой! — какое белье складывали в коляски рачительные будущие мамы! Нежнейшие, в кружевах, кремовые и сиреневые комбинации и прочие детали дамского туалета, от которых мы за последние пару лет вообще отказались. Что на нас было, поизносилось, а заводить новое — где уж там! Под платьем все равно не видно, хоть фуфайку пристойную — и то ладно...

Ожидая, пока Софи выправит справку о дезинфекции, вспомнила почему-то, как в последние дни перед уходом из Кишинева, когда город горел, в госпиталь то и дело кто-нибудь из вольнонаемных приносил ужасающие новости: «На Александровской разбомбили магазин Шапиро, нитки валяются на тротуаре, коробки с чулками. Командиры волокут полные мешки»...

Сейчас думаю — а в разбомбленных немецких городах?.. Ох уж эти нежнейшие в кружевах комбинации, сложенные в голубые и розовые коляски с бережностью, достойной невиданного и по счастливой случайности доставшегося сокровища!..

С девочками я пыталась поговорить. Они нехорошо отворачивались. Хихикали между собой, некоторые бойко щебетали по-немецки. Слышно было и про евреев, которые «из кривого ружья стреляют из-за угла», и про «героев, что Ташкент брали». И я поняла, что для угнанных, мы, эвакуированные, были второй сорт, точно так же, как некогда для пульмановских поляков на куйбышевском вокзале. Нам лавры героев и мучеников войны уготовлены не были. Мы — «брали Ташкент»...

«Молодая гвардия» еще не написана, о подвиге Веры Волошиной заговорят много позже. Пока же — встреча в вокзальной бане. Война еще не стала легендой. К легенде лишь предстоял непритягательный путь постижения, похожий на препарирование в анатомичке, путь долгий, который и сегодня — сегодня особенно! — едва ли назовешь пройденным до конца...

30 июля 1945 г. Вернулись на родное пепелище. Пепелище — иначе не скажешь. Кишинев лежит во прахе. На останках домов — «проверено, мин нет». И от домов — смрад.

...На толкучке — бойкая торговля. Мебель и утварь, посуда и платья — спутники тех, что дымом ушли из концлагерей. Еще продавали на базаре мыло: германское мыло — нежно-салатовые бруски с клеймом — чистый еврейский жир. И шампунь для волос в великолепной обертке. На лицевой стороне — роскошная блондинка расчесывает волнистые волосы, пальчиком на этикетку указывает. А на этикетке — то же клеймо. Многие мыло и

шампунь покупали. И хоронили на кладбище, оплакивая...

Однажды сидела в трамвае. Вагон остановился, а рядом — на уровне глаз — кузов грузовика. Кузов же доверху полон костей. Человеческих. Это разгребали развалины. Мертвое с мертвым, живое с живым. В городе цвела сирень. Город хотел жить и оживал понемногу. Смерть отступала и предлагала живым забыть о ней. Забыть, но не отступить.

И еще двинулась по стране на костылях, на колодках, на самодельных тележках особая армия — «армия условно выживших». Многие были одиноки. Или бездомны. Семьи погибли в бомбежках, сгорели хаты. Ветры странствий носили былых воинов по городам и весям. Многие не хотели навязывать семьям свои увечья. Иных жены и невесты просто не дождалась. Вчерашние победители, ступавшие четыре года по самой кромочке между жизнью и смертью, метались. Они решали, как жить заново. И — пели. Сперва, помню, их слушали, рыдая, на рынках, на улицах, в трамваях, в поездах. Потом их хриплые, жесткие голоса возмущали ликующую после-победную толпу. Их едва зажившие ярко-розовые рубцы, пустые глазницы, беспальные руки коробили людей, которым очень хотелось верить: все хорошо, все будет хорошо. Инвалиды дебоширили и рвали на груди рубашки — «за что воевали?» Им бросали медяки, их еще жалели. Но уже не любили. Они были как Лазарь, повивавший преисподнюю, на пиру у мирно живущих. И они незаметно исчезли с широких проспектов, не появлялись больше на площади у собора. Они осели в инвалидных домах, иные просто ушли из жизни — срок «условного выживания» весь вышел...

Август 1946 г. Вернулся отец. Притихший. За обедом вилок почти не пользуется. Говорит — отвык. Впро-

чем, ложка в самом деле универсальнее. Из солидарности тоже стала есть ложкой, что первое — что второе. А «притих» — не то слово. Отец как бы угас изнутри...

ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ

27 мая 1987 г. Сегодня похоронили мою маленькую маму, нашу Софи, дитя иного века. Она лежала подтянутая, строго и, все-таки казалось, чуть кокетливо склонив набок голову, — очень «дама». Такая маленькая, такая хрупкая...

...Давно уже нет и дяди Лёвы и Лили. Дядя Лёва пристойно и в большой чести скончался и был похоронен, как и подобало «заслуженному врачу республики», ненадолго пережив моего отца, своего лучшего друга. Наверное, в час предстания пред высшим судом — потому что, давайте согласимся, а вдруг есть такой суд — дядя Лева, конечно же, и помнить не помнил, как отказался от свидания с отцом после его ареста: друг? да что вы! муж сестры, жены моей, вынужденные отношения...

После окончания войны люди стали по-новому оценивать свои отношения. И после возвращения отца старая родственная дружба между отцом и дядей Левою возобновилась безмятежно. По крайней мере дядя никак не подавал виду, что что-то такое было... «Давно, знаете... эвакуация, страшные годы, я — один, дочь на руках...» Отец, очевидно, имел на этот счет свое мнение, так сказать «частное определение». Но отец был миролюбив: «человеческая жизнь такая незащищенная, малейшая случайность, и всего-то остается пустой «футляр» на столе в анатомичке... Притом учитывая, что Лили ставила перед всеми нами достаточно вопросов, дружба продолжалась...

Лили? Уснула как-то вечером с любимым котенком на плече, сидя в любимом кресле, с раскинутыми по полу любимыми журналами «Мари-Клэр» тридцатилетней давности, чудом уцелевшими у соседей во время войны. Вот так и уснула в ожидании супруга, который должен был с минуты на минуту вернуться из командировки. Уснула и уснула. Только что навсегда. Зная об изменах супруга, тоже известного хирурга и тоже «заслуженного», любимого дядинного ученика еще со студенческой скамьи. Так что весь корень моей тети «красавицы Розалии», погибшей от бомбежки, выкорчеван до основания, до рыхлой земли.

...Мне грустно. Я одна в пустом доме, где витают еще любимые духи Софи «Крымская роза». Вперемешку с едким старческим запахом... Я открыла шкаф, там висели ее платья. Я помнила ее обворожительной. Невыносимой, упрямой, самоотверженной, хрупкой, капризной, негибимой в ее победном оптимизме беспечного века...

Я — дитя иного, жестокого, времени. И помню это. Я помню и всегда буду помнить, как двое суток с отключенным сознанием (инсульт) натужно хрипела Софи, никак не желая покинуть мир, в котором жилось ей и весело и трудно, счастливо и горько, и по всякому, но это была жизнь, а она любила говорить: «Я хотела бы жить двести лет!» Ее сердце, похоже, и было на столько рассчитано и не желало сдаваться...

16 августа 1987 г. Да будет благодатьна любовь, утишающая войны и распри между людьми и народами. Нет светлее любви человека к человеку, а все остальное — тлен. Все остальное — примыслено нами, потому что, став взрослыми, продолжаем играть в опасные игры и, играя, распаляемся и озлобляемся, и забываем о братстве людей. Ты — брат мой по че-

ловечеству, да не разделят нас фантомы былых радостей и былых бед, да станут общими твои и мои обелиски,— творю заклинание в это утро и явственной всего вспоминаю плывущие в сиреневых сумерках мыльные пузыри, что, сверкнув перед нами, истаявали, будто и не было их.

...Так я записала после своего примирения с сегодняшней реальностью.

Недавно я съездила в село Кузеево. Местные жители рассказали такое предание: будто те, у кого живая душа, бессмертны. Ибо душа их превращается в звезду, когда брренное тело возвращается в прах.

А умирает душа, лишь когда о человеке все забывают. Тогда и скатывается с неба его звезда.

Да минует нас с тобой звездопад. Да минует и милует он всех нас. Да горят в небесах звезды памяти, перекликаясь со звездочками маленьких обелисков, сколь бы скромны и малорослы они ни были. Они—в нашем сердце. У каждого—свой.

А ростом они все равно—с вечностью.

Кемерово
1982—1990

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

20 февраля 1943 г.

...Вот только сейчас ребята передали, что в честь взятия Обруча Москва салютует сегодня... Скажи Элочке, что его родина уже освобождена от немчуры...

О себе, дорогуша, писать нечего... Да и много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, получить из дома письмишко, не спеша покурить с приятелем—вот и готова солдатская радость!

Валерий

9 апреля 1943 г.

...Дня два-три назад получил твое, папаша, письмо, которое читал несколько раз и все с большим наслаждением. Ты мне пишешь о своих впечатлениях во время осенних и зимних прогулок по горам и рекам. У меня появилось безумное желание быть там вместе с тобой... Особенно сейчас, в весеннее время, там у вас прелестно. Чуть стаает где снег—и уже цветы: кандык, за ним бадан. Хотя я и не бывал у вас в Шории ранней весной, но представляю ее.

...У нас уже весь снег стаял, прилетели грачи, скворцы, оголились все головешки, зола, кучи кирпичей на местах бывших деревень, по берегам распустилась верба...

Я нахожусь все на той же работе—в разведке. Чувствую себя хорошо, здоровый и бодрый.

С приветом Валя

8 августа 1943 г.

Пишу письмо тебе из освобожденного нами города Белгорода, куда мы ворвались 5/VIII 1943 г. Немец бежал. Здесь пока находимся на отдыхе и готовимся гнать и бить врага. Мама, не обижайся, что долго не писал, потому что было некогда...

Твой сын Ваня

Владимир Куропатов

ОБРАТНЫЕ ЖУРАВЛИ

Мерин Гнедко долгие годы работал в шахте. Выкатывал из забоев вагоны с углем и тяжелой пустой породой. Мало знал людской ласки — под землей жизнь суровая. Не был балован кормом. Не видел Божьего света, и глаза его угасли, сделались незрячими. До срока износившегося, его выбраковали, подняли на-гора и за бесценок продали цыганам. А те за три мешка сорного овса уступили колхозу «Красный пахарь».

Обмен совершили кладовщик Зубов, счетовод Данилов и Кондратий Пименович Ткачев, по старости лет занимавшийся изготовлением саней, телег, сенокосного и прочего общественного инвентаря. Поначалу Зубов с Даниловым шибко засомневались в нужности колхозу костлявого, понурого да к тому ж слепого тягла.

— Хомут на него станешь надевать, он и повалится. Председателя надо б спросить.

— Дак как ты его спросишь, если он в район уехал. А цыгане ждать не любят, — возразил Кондратий Пименович. И еще раз деловито осмотрел со всех сторон животину, заглянул в зубы, потрогал репицу, постукал палочкой по копытам. — Как, значит, бывший конюх со всей сурьезностью говорю, мужики: три мешка овса — цена вполне сходная. Через недельку-две травка зазеленет, и он оживет, окрепнет. На разных подсобных работах за милую душу сгодится. Я вам говорю. А?! — старик приложил к уху

ладошку — с годами он стал плохо слышать.

Ему никто ничего не ответил: все запрокинули головы и смотрели с удивлением и радостью на плывущий в глубоком синем небе клин журавлей. Сняв шапку, чтобы не спала, поднял голову и Кондратий Пименович.

— Ровным образом на север путь держат — хорошая, мужики, примета.

— Чем же хорошая?

— А тем, что осенью обратно полетят. К той поре мы уже с новым овсом будем, — засмеялся Кондратий Пименович, — так что нечего жалеть. А?! — приложил к уху ладошку.

В общем, взяли Гнедка.

А вечером приехал из района председатель Хабаров и поднял большой шум, мол, посевная грядет, лошади за зиму исхудали, а в его отлучку ни за здорово живешь овес раздаривают. И назвал в сердцах Кондратия Пименовича вредителем. Старик порядочно струхнул, стал горячо доказывать, что мерин крепкой кости, непременно войдет в силу. А что до овса, то пусть правление сымет с него, колхозника Ткачева, сколько полагается трудодней.

Хабаров крепко выматерился, резко махнул рукой на Кондратия Пименовича и перестал шуметь.

Гнедко, как и говорил Кондратий Пименович, с молодой травой маленько поокреп, повеселел. Однако никто из мужиков запрягать его не хотел.

— На нем разве что за бедами ездить, — говорили.

Не дожидаясь новых попреков председателя, старик Ткачев попросил его:

— Ты, слышь, приписал бы Гнедка ко мне. И я б стал на нем в березник за матерьялом ездить,— Кондратий Пименович, приложив к уху ладонь, подался корпусом вперед.

— Забирай,— безразлично сказал Хабаров.

Вот и ладно, вот и добро,— обрадовался Кондратий Пименович.— Он еще свет слышит, я свет вижу, а вместе получается самая настоящая нам цена...

По утрам старик запрягал Гнедка в легкую тележку, клал на нее топор, лучковую пилу, косу и правил в недалекий березняк. Конь вышагивал по дороге размеренно и сторожко. Ноги подымал непривычно высоко для глаза возницы, а опускал их так, будто путь лежал по зыбуну. Когда Кондратий Пименович, чтобы повернуть вправо или влево, дергал за вожжу, мерин на короткий миг замедлял ход и вслушивался в ту сторону, в какую требовалось повернуть, после чего мелко перебирал передними ногами вбок до тех пор, пока возница не дернет обеими вожжами: «Прямо». И Гнедко уверенно, с прежней размеренностью трогал прямо.

Поравнявшись со своим домом, Кондратий Пименович останавливался, звал внука:

— Минька, где ты там?!..

Шестилетний Минька вылетал с восторженными воплями, взбирался на телегу, просил:

— Деда, дай я поеду.

Кондратий Пименович уступал вожжи внуку, и он держал их до самого взъема, который начинался сразу же за деревней. Перед взездом дед и внук слезали с телеги и подталкивали ее сзади, помогая Гнедку. На взгорке старик натягивал вожжи:

— Отдохни, милай, чуток. Успеем, куда нам, старым, торопиться.

Гнедко вздымал во вздохе бока, будто отвечая: «Верно, теперь уж торопиться некуда...»

Добравшись до березняка, Кондратий Пименович выпрягал мерина, отводил его в тень деревьев, доставал из кармана краюшку хлеба.

— Старуха тебе, Гнедко, гостинца послала. Ну-ка, Минька, дай ему.

— А он меня, деда, не укусит?

— Чего укусит-то? Ты ж к нему с добром.

Минька подносил к теплым чутким губам коня хлеб, с улыбкой наблюдал, как Гнедко пережевывает его, роняя капли слюны.

Потом Кондратий Пименович косил траву какая помельче, а внук собирал ее и снашивал под морду коню. Покончив с этим, Минька принимался собирать цветы, гоняться за бабочками, находил еще много разных утех. А Кондратий Пименович брал топор и, кружа по роще, оценивал каждое дерево: на что бы оно могло согдиться?..

С возом разного матерьяла отправлялись в обратный путь, когда солнце поворачивало за полдень. Дорога все под горку, и Гнедку не надо было особо напрягаться. Вожжи держал Минька. А Кондратий Пименович шурился на солнышко и тихим жиденьким голосом напевал сам себе грустно-душевную песню про какую-то девушку-красу Анюту. Возле дома старик ссаживал внука с воза, трепал его белокурые волосы.

— Ну, брат, нагулялся, накучерился. Ступай помогай бабке кур доглядывать...

Кондратий Пименович правил на колхозный двор. Встречный народ, не скрывая насмешки, любопытствовал:

— Ну и как, дядя Кондратий? Мерин-то?

— Чего, чего? — напрягал слух старик Ткачев.

— Говорю, доволен—нет конем-то?

— Так, поди, сам видишь: он везет, я — на возу, он слушает, я гляжу. Одним словом, согласие меж нами полное — как и должно быть среди настоящих товарищей.

— Ох, очутишься ты со своим товарищем под яром...

Понятно, такие слова обижали старика, но он виду не подавал. На колхозном дворе чистил скребком бока мерина, распутывал гриву и вел речь:

— Хэх, под яром очутимся. Ты-то, мил человек, скорее нас туда угодишь. Мы свою жизнь до самого уже края дошли, след, наверное ж, и умишка и смекалки подкопили — занимать не станем. Ты вон под землей, во тьме рабочую науку проходил — это вам не в бирюльки играть. Сын мой Николай, Минькин, стало быть, отец, — и сильный, и хваткий парень, до женитьбы подался было на шахту за длинным рублем. Так через три недели назад вернулся — не выдюжил. Лучше, говорит, буду хлеб растить... Да и я, говорю, не в тетеревином гнезде жизнь просидел. Считаю, всякое рукомесло разумею... Ох, скажу тебе, и жадным же я был до работы. Конечно, и силенка тоже была, да съели годы, как огонь солому. А вот смекалку у нас с тобой да охоту до дела одна смерть отымет. Верно я говорю, Гнедко?

Мерин вздымал бока: известное, мол, дело — смерть лишь отымет.

Взыхал и Кондратий Пименович:

— Уже близко от нас кружит она, костлявая. Нам с тобой до осени бы, до обратных журавлей дожить, а там можно и... Если по холодам, то шибко уж тяжело будет мужикам могилку рыть. Ну а если, Божья воля, до весны дотянем, то еще лучше, еще небо покоптим. Как? — смеялся Кондратий Пименович.

Гнедко в знак согласия взмахивал хвостом.

— Вот и добро... А теперь, значит, мы сделаем так: я матерьялом зай-

мусь — шкурить стану, а ты гуляй, пасись. Денька так три. Потом снова в лес поедем. Черешки для сенокосного инструмента станем заготавливать. Ну, ступай, — Кондратий Пименович открывал ворота, и мерин шел на лужайку...

Так они и жили-дружили. Но совсем недолго. Грянула война.

В какую-нибудь неделю деревня сделалась сирая — все мужики ушли на фронт. И, конечно, сын Кондратия Пименовича, Николай, тоже. Несмышлениш Минька напомнил ему:

— Пап, а ты говорил, пойдем скоро карасей удить.

— Говорил, значит, сынка, пойдем. Пока я фашиста вытуриваю, ты поедь с дедушкой в лес, два хороших удилица срежь, ошкури, в тенечке просуши их, а тем временем и я вернусь. И пойдем мы с тобой на озеро карасей таскать — вот таких.

Николай не обманывал сына, верил в то, что говорил. Да все сплошь верили, что война будет короткой — месяц, от силы два — и мужики вернутся. Потому так легко Ксения, жена Николаева, серьезная, умная женщина, согласилась председательствовать в колхозе до победы вместо Хабарова. Пожалуй, недоверчивее всех был Кондратий Пименович. Он сказал Гнедву:

— За два месяца едва ли одолеют мужики Хитлера, но что к обратным журавлям возвратятся, нисколько не сомневаюсь. Вот такая, брат ты мой, обстановка. Так что давай поднатужимся...

И два старых немощных товарища, человек и конь, терпеливо, без упрека принялись за тяжелую работу. Возили сено, силос, снопы, кули с зерном, дрова, воду на скотный двор...

Промелькнуло лето, прошла осень, замели метели. Обратные журавли уже давно проплыли в небе. Правда, ни старик, ни мерин за работой не

видели и не слышали их, но они, конечно ж, пролетели — не остались же зимовать в родном, но холодном краю. А мужиков все не было. Правда, иные возвращались, но покалеченные — кто без руки, кто без ноги, а то и без обеих. А еще раньше калек стали приходить похоронки. Сложили где-то головы счетовод Данилов, кузнец Коробейников, конюх Евтюхов... Перед самым Покровом разом пришли известия о гибели председателя колхоза Хабарова и Николая, сына Кондратия Пименовича. Старуха слегла. Невестка Ксения убивалась до того, что Кондратий Пименович забоялся: не помрачилась бы умом. И за внука Миньку боялся — жметесь мальчонка к матери, дрожит осиновым листом, понять ничего не может.

— Уймись, дочка, — утешал Кондратий Пименович. — Одно нам остается, милая, — вековать дальше...

Мало-помалу совладала с собой — дюжая женщина. Да и как было сломиться, пасть духом, когда все глаза сирой деревни — на нее? Походило теперь, что те, кому судьбой предназначено остаться на войне целыми и невредимыми, вернутся домой нескоро.

— Худые, Гнедко, наши дела. Бабам с ребятней и того хуже. А потому один нам исход...

Старик не договаривал, он знал: Гнедко хорошо понимает его и без слов...

И они справляли на совесть всякое дело, какое указывала им председательша Ксения Ткачева. Все чаще случалось исполнять указания панихидные — сволочь на скотский погост то падшую овцу, то корову, то лошаденку. И все чаще с тесовым гробом на развалнях лежал путь Гнедка и Кондратия Пименовича на людское кладбище.

В первых числах марта, когда уже поярче стало светить солнышко и в

душе затеплилась надежда на облегчение, померла, так и не оправившись от горя, старуха Кондратия Пименовича, которая была почти на десяток лет моложе его. Старик казалось, что в нем осталось жизни лишь столько, чтобы проводить старуху. Так и сказал мысленно Гнедку: «Меня легче повезешь: дорогу эту и запорошить не успеет...»

Но пришла весна и растопила все дороги.

А чуть позже над деревней пролетели на север журавли.

А осенью они улетели обратно.

И еще они два раза прилетали.

И два раза улетали.

И вот прилетели снова.

Старик Ткачев и мерин Гнедко ни разу их не видели и не слышали. Но, конечно же, они прилетали и улетали.

— А мы всё живы, Гнедко, — с изумлением сказал Кондратий Пименович. — Но чем? Чем, спрашиваю, живы-то, а?

«Тоже вот не возьму в толк — чем», — глубоким вздохом ответил Гнедко.

— Тогда и гадать не станем... Завтра, родной, пахать выезжаем.

Погода в тот день была переменчивая: то надвигалась хмарь и колкий, пахнущий зимой ветер с разбойничьим посвистом ударял в грудь коня и пахря с такой силой, будто хотел опрокинуть их и закувыркать по полю, то вдруг тучи разрывались и в глубокой прогалине ярко поблескивало солнышко. Потом опять застилал землю мрак, бесновался и сатанел ветер. В очередной раз он налетал сбоку, норовя сорвать со старика шапку. Чтобы придержать ее, Кондратий Пименович отнял от плуга руку, другая не смогла справиться, лемех выпростался из земли, его заметало по сторонам, старик оступился и упал на

пашню. Гнедко же, сбившись с шага, выступил — что с ним очень редко бывало — из борозды, загоропился стать в нее снова, его закачало, он остановился. Ноги и впалые ребристые бока коня дрожали. Кондратий Пименович, поднявшись, тоже почувствовал во всем своем иссохшем теле мелкую дрожь, голова кружилась, к горлу подступила тошнота. Подошел к морде коня.

— Ужель конец нам, Гнедко? — Боясь упасть, потянулся было к шее Гнедка, но сообразил, что если он за нее ухватится, рухнут наземь оба. — Всё, конец... — прошелестели пересохшие губы пахаря.

— Конее-е-е! — эхом долетело до его слабого слуха со стороны деревни, откуда как раз дул ветер. Оттуда же донесся звук, похожий на ружейный выстрел. Кондратий Пименович вздрогнул, слабое его тело напряглось. Не доверяя своему слуху, он решил бы, что ему блазнится, но заметил, как чуткие уши Гнедка дрогнули и направились тоже в сторону деревни, стали дыбком. Потом медленно опустились. Немного погодя ружейный звук повторился, уши коня опять вздыбились.

— Что там, Гнедко? — тревожно спросил Кондратий Пименович и посмотрел на неспаханную часть поляны: оставалась почти половина... Из прорехи в серой туче выглянуло солнце, лучи его обдали лицо острым теплом. «Третий час, не больше», — определил Кондратий Пименович. Достал из кармана фуфайки краюшку, разломил на две равные части.

Ноздри Гнедка, заслышав хлебный дух, заволновались.

— Ишь ты однако какой, — старик слабо, но просветленно улынулся. — Скажи спасибо председателю Ксении, невестке моей, — жалеет она нас с тобой. На, бери свою долю. — Кондратий Пименович поднес к губам ко-

ня полкраюшку и наблюдал, как слабо от бессилия двигаются его челюсти. И пронзило ветхую душу Кондратия Пименовича сердоболье к верному товарищу, прильнул он щетинистой щекой к лошадиной морде и беззвучно заплакал.

Гнедко замер, даже, казалось, перестал дышать, из незрячих глаз его выкатывались крупные слезы и смачивали лоб старика.

— Горемычные мы с тобой, — шептал Кондратий Пименович, всхлипывая, — горемычные, Гнедко... Однако будет. Ты меня пожалел, я тебя — вот и ладно, вот и добро. Облегчились малость, а теперь... Ты уж, братец, не сердчай на меня, надо нам сегодняшнюю норму дать. А уж завтра как Бог велит. На-ко вот еще полкраюшку.

Конь печально отвернул голову в сторону.

— Чего ты, брат? Ешь. Не моя это придумка, Ксения, председательша, так велит. Ты, говорит, тятя, и щи хлебаешь, и картошки печеные ешь, Гнедкю же только навильник гнилой соломы с крыши сарая перепадает. Тогда как главный работник он, а ты лишь сзади гуляешь. Так что хлебец-то свой обеденный ему отдавай. Так и говорит. Ей-богу, не брешу. Я когда-нибудь брехал тебе? Вспомни, брехал?..

Гнедко стоял понурив голову, будто силился вспомнить, брехал ли когда ему товарищ.

— И не тужься, браток, ничего ты такого не припомнишь. А потому бери. Бери, говорю... Ну вот и добро, вот и молодец... А теперь тронемся дальше — надо... Оно и потому еще надо, что никак не годится долго стоять: сойдется тело, ужмутся жилы и — совсем нам каюк. — Кондратий Пименович поставил плуг в борозду, дернул за вожжу: — Ну, с Богом, милый...

Гнедко медленно, словно бы отхо-

дя от сладкого сна, напрягся, подался вперед, постромки натянулись, лемех плуга ушел в подзолистую почву.

Немощные, изнуренные человек и конь делали свое непреложное дело, а небо обрушивало на них лавину снежной крупы. Она больно секла морду и грудь коня, щеки и руки пахаря, от нее нельзя было ни увернуться, ни заслониться, ни укрыться, двум страждущим оставалось одно — ступать и ступать по борозде до конца гона, кажущегося безмерным, одолеть его и, нисколько не мешкая на повороте, заходить на новый гон — иначе никак нельзя, иначе сойдется, не дай Бог, тело, ужмутся жилы...

— Де-да-а-а!

Кондратий Пименович поднял голову. Навстречу от того конца деляны, размахивая руками, бежал внук Минька. Обличьем и сложением весь в отца, но тонкий, как тростиночка. «На хорошие б его харчишки...» — сердце старика тягуче заныло. И затревожилось чего-то.

— Деда, война кончилась!

Кондратий Пименович натянул вожжи.

— Стой, Гнедко... Чего говоришь?

— Мамка из района приехала. Война кончилась!..

Кондратий Пименович хорошо теперь расслышал сказанное внуком. Но взять в толк его слов никак не мог.

— Погоди,— сказал. И дернул вожжи.— Но, Гнедко!

Этот гон был последний. Дойдя до его конца, Кондратий Пименович опрокинул плуг на бок.

— Все, Гнедко. Вот и дал Господь— завтра будем победу праздновать.— Тревога из сердца старика ушла, радость же пока еще не явилась.

Победа победой, а работать надо: весна, день год кормит. Попраздновав

денек, побаловав себя ничегонеделаньем, Кондратий Пименович и Гнедко опять принялись пахать... Потом сеять, закладывать силос, таскать копы, убирать урожай...

Стали помаленьку приходить уцелевшие на войне мужики. Шибко дивились:

— Так ты жив, что ли, дядя Кондратий?

— Чего, чего? — старик прикладывал ладонь к уху.

— Говорю, не помер еще? И твой мерин слепой не околел?

— Как померешь-то, вас не дождавшись. Друг дружке с Гнедком костылем были да жительствовавали.

— Это сколько ж тебе, дядя Кондратий?

— Э-э, милай, давно уж нам обоим пора...

Была осень. День стоял теплый, светлый. А Ксения перед уходом на работу натопила печь, и хворому Кондратию Пименовичу было душно в избе. Попросил Миньку:

— Сведи-ка меня, парень, во двор.

Сам старик Ткачев уже ходить не мог. Минька живо одел, обул деда и, легкого как перышко, вывел на волю, усадил на завалянку. Кругом были тишина и покой. Кондратий Пименович посмотрел в бездонное голубое небо. Вздохнул, промолвил:

— Хорошо-то как, господи...

От ворот послышалось легкое ржание Гнедка.

— А-а, друг мой. Впусти его,— сказал старик внуку.

Минька живо открыл ворота. Гнедко подошел к Кондратию Пименовичу, коснулся мордой его плеча.

— Здравствуй, здравствуй, родной. Как ты? Скучаешь без меня? А я вот, брат, совсем расхворался. Скоро-скоро придется расстаться...

Минька вынес из избы краюшку

хлеба. Гнедко принял ее, стал жевать. А Кондратий Пименович гладил коня по крупу, приговаривал:

— Потчуйся. Любит тебя Минька. Потчуйся.

Конь вдруг перестал жевать, уши его направились, забеспокоились.

— Что, Гнедко? — спросил Кондратий Пименович.

— Деда, глянь — журавли! — с восторгом заверещал Минька, запрокинув голову и показывая рукой в небо. — Журавли!..

Кондратий Пименович поднял взор вверх. Стройный клин медленно и плавно держал путь на юг. Птицы посылали на землю печальные прощальные клики.

— Обратные. Вот и дождались мы,

Гнедко. Легкого вам пути, милые. Прощайте, — старик помахал им слабой иссохшей рукой. — Прости и ты меня, друг... — Кондратий Пименович обнял голову покорного коня. — Прости, если что не так...

Умер Кондратий Пименович на рассвете следующего дня. Гнедко исполнил свой последний долг перед товарищем — отвез его на кладбище. И куда-то пропал. Через несколько дней Минька Ткачев случайно нашел его окоченевший труп на краю скотского погоста. Сказал об этом матери Ксении. Та послала мужиков закопать Гнедка. «Чтоб все было по-людски», — сказала.

1990

Любовь Скорик

АНФИСИН ПАТЕФОН

Уж просила бабка Ульяна Петруху, просила, все уши прогундела: почини да почини патефон. А он только похохатывал: к чему, мол, тебе это доисторическое ископаемое? Мало, что ли, в доме магнитофона да проигрывателя — ты их-то сроду не слушаешь. Но она не отступалась, все долбила ему в темечко. И додолбила: вчера, ночью уж, пришел с танцулек — и к ней.

— Ну, где твоя музыкальная шкапулка? Давай сюда!

Вот так всегда: вдруг подхватится — вынь да положь! Сегодня вон с самого ранья сидит на веранде, в патефоне ковыряется. Уж и в мастерскую бегал, что-то приваривал. Парни приходили, на речку звали — даже головы не поднял: некогда, говорит.

Вообще-то Ульяна сильно сомне-

валась, что музыку эту еще наладить можно: шутка ли — тридцать с лишком годков без дела пролежала, поди уж, все нутро заржавело. Однако Петруха — парень башковитый, настырный, может, что и выйдет у него. И она подходила к нему потихоньку да подсовывала то шанежку, то огурчик малосольный. Ей хотелось потрепать его белесый чуб или чмокнуть в макушку, но она боялась помешать.

Петруха занимался патефоном целый день — весь выходной убил. Еще раз бегал в мастерскую, несчетно разбирал его по винтику и снова собирал. Наконец велел Ульяне принести из комнаты пластинку, накрутил ручку и опустил на диск головку. Ульяна аж подобралась вся, насторожилась и... ничего, кроме шипа, не услышала!

— Погоди!

Она сходила на кухню за брусом, наточила иголку. Петруха снова зашел, и опять из патефона вышел только безобразный силый гул.

— Нужны патефонные пластинки! — заключил Петруха. — А у тебя небось их нет?

— Да были где-то. Только разве вдруг-то найдешь?

— А ты поищи! — Теперь и Петрухе не терпелось проверить результаты своего труда.

Ульяна постояла, подумала и пошла к лестнице на чердак.

— Полезешь, что ли? Давай уж лучше я!

— Я и сама-то путем не помню, где там что. А ты и подавно не разберешься. Как-нибудь потихоньку залезу, поди.

Петруха подсадил ее, придержал, пока она карабкалась. А она шагнула наверх и обмерла. Уж сколько годов не поднималась сюда, позабыла, что и есть-то здесь. Не сразу, постепенно выходили из полумрака, обступали со всех сторон Ульяну свидетели ее жизни. Зыбка вот — облупилась вся, почернела от времени. Качались в ней и Кеша — брат ее, и сама Ульяна, и Сема — отец Петрухи... От воспоминаний вскипело в сердце, защищало глаза... А рядом с зыбкой — лопата деревянная, по краям обугленная. Теперь редко в каком доме и увидишь такую — все норовят хлеб в магазине брать. Вот и они свою сюда закинули. А и поработала лопатка эта на своем веку! Ничем не гнушалась — и белые пышные хлебы из печи вынимала, и такие, что и хлебом-то назвать язык не поворачивается: муки-то в нем горсть, а остальное — горох да мякина, да картошка. Бывало и кору толченую добавляли... Чунн! Гляди — и эти тут! Огромные самодельные галоши надевали на пимы. На лесозаготовках вещь бесценная: не промокают пимы, ноги сухонькие.

Правда, ходить в них — не дай бог. Словно гири за собой таскаешь, а как задубеют на морозе — разъезжаются в разные стороны, ноги вместе не соберешь...

— Баба Уля! Ты долго там будешь? Сколько ждать-то тебя?

Ах ты, господи! И зачем залезла, позабыла. Где ж тут пластинки-то сыщешь? Нет их, поди, давно. Разве в сундучке вот глянуть. Ну точно — вот же они лежат сверху, ровно знали, что искать их будут. Все три полежируют как миленькие!

— Бабуля! Ты чего там, уснула, что ли?

— Все, все! Иду.

— Нашла, что ли?

— А то как же!

Все-таки хорошего внука послал ей господь! **Уж такого** хорошего, что и не высказать. Это ничего, что по бумагам он и не внук ей вовсе. А по жизни-то родней его и нет у нее никого.

И вот Петруха ставит пластинку, двор заполняет зычный, чуть приглушенный патефонным шипом руслановский голос:

Я-а-а на горку-у шла,

Тя-а-а-жело-о несла!

Ульяна бессильно опускается на лавку. Закрывает глаза. Слушает.

Неслышно растворилась калитка, втиснулась в нее толстая Агафья да и замерла. Только когда замолкла Русланова, пошипела малость пластинка и стала, — только тогда рот раскрыла:

— Это что же такое, Ульяна?

— Не видишь, что ли, — патефон!

— Неужто Анфисин?!

— А то еще чей? Вон Петруха наладил.

— Ах ты, господи! Слышь, Ульяна, не заводи — я сбегая за стариком своим. Мингом я. Смотри не заводи!

Скоро она, покраснев и отпыхива-

ясь, снова втиснулась в калитку и закричала:

— Погодь еще малость! Побег мой до Татарниковых — пушай Лукерья послушает, да по пути стукнет Никишиным — может, и Лизка захочет...

Весть о том, что ожил Анфисин патефон, уже летела по Шалаевке, к дому Ульяны спешили старики. Они заполнили маленький дворик, но все оказывалось, что еще надо кого-то подождать, еще за кем-то побежали. Петруха вынес на улицу все стулья и табуретки, обе лавки с веранды, однако мест на всех не хватало. Присматривали какое-нибудь бревнышко, но бревен в ограде не было.

— А раньше-то, бывало, с патефоном на толчок ходили! — сказал одинокий Степан, муж Агафьи.

— А кто нам сейчас-то не велит? — подхватила хитроглазая шустрая Василиса.

— Ить и правда — что столпились тут? Сейчас все в ограде у Ульяны вытопчем.

— А ну, айда на толчок!

— Тряхнем стариной!

— Где наша не пропадала!

Это было удивительное шествие. Шли все шалаевские старики, вернее — старухи, стариков-то всего троечетверо. Шли весело, споро — даром что многих согнули годы. Впереди торжественно несли Анфисин патефон. Несли по очереди. Передавали друг другу, любовно поругивая:

— Во, холера, чижолай какой!

— Дак скока годов на повети пролежал, в ем, поди, одной сыри да ржавы полпуда.

Бывший толчок их зарос, задичал совсем. И то сказать — не бывает здесь никто. Молодым клуб в другой стороне построили, они все больше там. Бывало, хоть ребятишки тут в горелки играли, а теперь и игру-то эту позабыли. А место, надо сказать, самое наилучшее. Деревья и кусты от-

городили его от деревни, обратили к светлой неспешной Инюшке. Рядом — веселый, крутенький, с плоской вершинкой пригорок. С него вид дивный. В одну сторону — вся Шалаевка как на ладони. В другую глянешь — и того краше: Инюшка и лесок на том берегу. Эх, дурни, эти молодые, — какое место забросили! А была когда-то эта каменно утоптанная полянка отменной танцплощадкой.

Ты скажи — даже бревнышки, на которых сиживали они когда-то, сохранились. Правда, потрухлявили малость. Степенно, серьезно, словно предстояло какое важное дело, рассаживались старики. Да не как попало — у каждого здесь было свое место. И вот сели. Замолкли. Приготовились. Ульяна осторожно крутит ручку, ставит пластинку, опускает на нее патефонный клюв.

Ах, Ульяна, Ульяна! Что же ты делаешь?! Из шипа и легкого рокота родилась песня. Да и разве это песни для них? Это же молодость их вдруг воскресшая. Нелегкая, ах какая нелегкая! — и все же единственная, незабвенная их молодость.

Басовитый голос идет и не из патефона вовсе. Он — от Инюшки или из лесу, что за рекой.

Сте-еь да степь кру-у-го-ом,

Пу-уть далек ле-е-жи-и-ит...

И оттуда, из-за Инюшки, множество голосов подхватывают тихонько, чуть слышно, трогая за самое сердце.

В то-ой степи-и глухо-о-ой

За-а-мерза-ал ямши-и-ик.

Или это они уже сами поют? Не раскрывая рта. Не голосом — сердцем поют.

Анфиса... Прежде всего вспомнили ее. Вот ведь как бывает: сколько лет рядом жили и вроде знали-то каждо-

го, а подошла тяжкая пора — и раскрылся человек, и оказалось: главного-то в нем и не видели! Анфиса Петровна вместе с мужем своим Иннокентием Ильичом двадцать лет учила шалаевских ребятишек. Была она тихой и неприметной. На детей кричать, осердясь, не умела, чем те иной раз и пользовались. Родителям выговаривала за ребячьи шалости и двойки конфузясь, будто сама во всем виновата. Уважали ее шалаевцы, как в каждой деревне учительницу. И только. Ничего особенного не было в ней. До поры до времени.

Война быстро дотянула к ним свою лапищу, повыгребла из шалаевских дворов мужиков подчистую. Остались в деревне одни только бабы. Пришло им время и председателя промеж себя выбирать. Долго судили да рядили. Страшно бабе в ярмо это впрягаться — запросто надорваться можно. Да и грамотешки не у каждой на это дело хватит. Анфиса Петровна сама предложила: мол, коль больше некому, давайте я попробую. Посомневались малость: хлипкая больно, деревенской работой не закаленная, но проголосовали за нее — поглядим, мол, скинуть-то всегда не поздно.

И вот здесь-то она себя показала! Обнаружилось в ней такое, что заставляло всех идти следом. На лесоповале не за вершину — за комель лесину брала. Самую худую шубейку выбирала себе, когда в тайгу собиралась. Под самый большой мешок свое плечо подставляла.

Она не делала скидок на свой председательский чин и норму в любой работе отмеряла себе общую. И хоть оказалась она бабоймышленной и нехитрую крестьянскую науку хватала на лету, все же приходилось ей несладко.

Убирали пшеницу вручную, по-дедовски. Анфиса Петровна серп в руке держала впервые, но колосья

срезала аккуратно, следя, чтобы не пропустить и не обронить ни единого. Однако за другими бабами угнаться не могла и норму свою не выполняла. Но не такой у нее был характер, чтобы сдаться. Закончат все работу, пойдет она домой, накормит, уложит детей — и снова в поле. И пока норму не сделает — не уйдет. Благо ночи стояли лунные. Пытались бабы воевать с ней — да поняли, что бесполезно. И где только силы брала — ведь почти без сна обходилась. Как-то сели обедать, здесь же, на поле. Она картофелину в руку взяла, ко рту не успела поднести и повалилась мешком. Перепугались — думали плохо ей. Глянули — а она спит.

Не умела она ни командовать, ни агитировать, ни умолять. Скажет, что делать, — и сама первая за работу. Бывало, даже не посмотрит назад — идут ли за ней. И все знали: не пойдут они — одна пойдет.

Так и было однажды. Хорошая уродила пшеница. Собрали, обмолотили. С ближних полей свезли, ссыпали. А что делать с дальним — уму непостижимо. Последняя колхозная полуторка рассыпалась. Лошадей осталось две, да и те — одно название. Того и гляди, зарядят обложные дожди — сгинет на поле пшеница. И если разобраться, поле-то рядом. Только между ним и деревней — болото. А круглая дорога — больно длинная. И стала Анфиса подговаривать баб попробовать перетащить пшеничку через болото. Мол, ходили же мужики на охоту и не топили. Да и если всем вместе, то не страшно — всегда можно друг другу помочь. Но болота бабы боялись, пороли ребятишек, если кто туда совался. Троп охотничьих они не знали и идти отказались. Хотя сердце у каждой разрывалось: погибнет хлебушко!

С утра в тот день Анфису не хватились — мало ли у нее дел. А к обе-

ду глядь — выходит она с болота на лыжах (ведь придумала же — на лыжи стала!), а сзади на санях — два мешка пшенички везет. Поругались бабы, покричали, а потом тоже стали на мужнины лыжи и поволокли через болото сани. Сколько раз проваливались, вытаскивали друг друга из трясины, приходили в деревню дрожащие от сырости и страха. А пшеничку до дождей успели-таки перевезти. Спасли хлебушек!

И доброты Анфиса оказалась недюжинной. Всегда знала, в каком доме в чем первая нужда, кому помочь надо. И ни с силами, ни со временем своим никогда не считалась. Каждую похоронку в Шалаевке сердцем оплакивала. Каждого больного ребенка норовила сама согреть. А как померла Маланья Горохова — двоих сирот к себе взяла. Так они и жили у нее, пока Иван Горохов с фронта не вернулся. А ведь у нее своих трое: два сына, еще несмышлениши, да Ульяна — младшая мужнина сестра — та, правда, постарше — школьница уже.

Как-то само собой так вышло, что мало-помалу перестали ее величать. Стали звать по-свойски, попросту — Анфисой. А патефон Анфисин вот почему.

Первым с фронта вернулся Степан Кудимов. Вместо правой ноги — деревяшка. И все же тогда впервые за войну в Шалаевке радостью пахнуло. Каждая, пожалуй, если еще не получила к тому времени похоронку, подумала: «Может, даст бог, и мой придет!» А пришел Степан как раз под Первое мая. Ну и решили гулнуть сообща. Договорились, кто что приготовит да принесет. Поговорили, что хорошо бы музыку по такому случаю организовать. А где ее, музыку эту взять, когда баянистов в Шалаевке не осталось ни одного? И патефоны за войну на базар свезли, на одежду поменяли.

Должна была Анфиса как раз на станцию ехать, коня получать. С востока на фронт коней везли, какие-то в дороге занедужили — вот их и отдавали в ближние колхозы. Пришлось ей заночевать на станции, и возвратилась она в самый праздник. К телеге была привязана тощая тонконогая кобыла. А на коленях Анфиса бережно держала патефон. Выменяла за свой тулуп, который постелила в телегу на случай ночевки. Как сказала бабам, они даже не поверили: отдать такую вещь за эту бандуру?! Да она что, сдурела, что ли? Или думает, уж и зимы никогда не будет? И на кой черт ей эта музыка? Оплошала что-то на этот раз Анфиса.

Нет, не одобрили они тогда музыку. И не скрыли этого от Анфисы. Однако она упрямо притащила его с собой, когда собрались они на любимой своей полянке. День выдался как на заказ — солнечный, звонкий. Травка только начала проклевываться и жирно блестела на солнце. На деревьях почки приоткрылись, и лес за Инюшкой стоял словно пересыпанный зеленой пылью.

А когда выпили за победу, за праздник, за Степана и за то, чтобы другие следом пришли, когда замолкли, — тут Анфиса и завела музыку. Как запел кто-то невидимый про ямщика, как слышали ту песню близкие шалаевские избы, как перекинулась она через Инюшку в лес, еще прозрачный, — так и ворохнулось сердце у каждого от тихой и светлой боли. Вот оно — чего не смогли, не успели они высказать, но что стояло в горле и просилось на волю. И вот теперь наконец нашло выход и хлынуло, принося облегчение. Оплакивали замерзшего ямщика, его сиротой оставшуюся жену, себя, тех, кто погиб в неведомой неродной стороне, и тех, кого она, ненасытная, еще погло-тит.

Потом пела Русланова про валенки и про то, как шла она на горку. И они, выплакав накопившуюся полынную горечь, подпевали ей и уминали землю, выколачивали из нее новорожденную майскую сладкую пыль. Показал себя Степан—когда-то лучший плясун в Шалаевке. Чуток ввинтив в землю свою деревяшку для крепости, он такое вытворял живой ногой, руками, головой, плечами, что все только ахали. Оттеснив других девок, переплясав всех, перед ним неотступно была Агафья—тогда еще невероятно тонкая, прямо прозрачная вся. Как в тот вечер заявила она свои права на Степана, так никому и не уступила его.

Впервые за всю долгую войну веселилась в тот день Шалаевка. По-настоящему веселилась. Тогда и поверилось: война идет на закат.

Война шла на закат. Однако до конца еще было далеко, и хватанули они горюшка предостаточно. Чего только стоил этот проклятый уголек! Приказали им лес валить да уголь из него выжигать. Для чего—не скажали. Но кто-то вызнал, что вроде в противогазы угля те вставляют. Ну, надо—значит, надо. Они за войну привыкли не выспрашивать, не спорить, а делать. Но это дело, казалось, было под силу только черту. Лес надо было валить не любой, а только лиственницу, да и то лишь спелую. А жечь-то ее мука небесная: чтобы не переводить добро в золу, чтобы углей выходило много, чтобы все они были прогоревшие, не угарные. Ох и запылали вокруг Шалаевки костры по самое небо! Ходили тогда бабы, как черти и как грешники сразу, черные, насквозь прокопченные, угорелые и обожженные. Сколько раз, бывало, и сами в кострах тех горели, да бог миловал—не насмерть.

И все же чуялось: что-то в жизни сдвинулось. Война теперь катила не

к ним, а от них. Письма оттуда стали получать бодрые, короткие, без длинных уверений, что все будет хорошо. И от этого крепчала надежда—доживут они сами до победы и своих дождутся.

Как ни подчистую вымела война мужиков из Шалаевки еще в самом начале—она и потом не раз шарила там и находила-таки поживу. Глядь, вчерашний сопливый мальчишка произведен в мужики и сразу же—в солдаты. Ваську Лаврентьева и вовсе повестка настигла в именины. Мать сообразила нехитрое угощение—все же восемнадцать сыну. И только за стол сесть успели—притарахтел зеленый, в бурых пятнах, ходкий грузовичок и такой же зеленый солдатик—не старше самого Васьки—велел срочно собираться и дал на сборы два часа. Стали упрашивать хоть до утра обождать—куда там, говорит: некогда. Оказалось, с эшелона он проходящего. Неполный эшелон-то, вот и собирают срочно мужиков из ближних деревень.

Мать Васькина—Мария—воет, не сообразит, что собирать. А тут новое дело: прибегает Зинка Репова, малявка малявкой, и кричит, что желает она Ваську на фронт как мужа проводить и сейчас же замуж за него выходит. И сам Васька, значит, не против. И солдатик говорит, что, дескать, раз свадьба, то тут какой разговор—подождет он до утра. Из-за отсрочки этой и согласилась Мария на свадьбу. Да какая там свадьба—плач да прощание. Однако молодых, как положено, уложили пораньше, а сами гуляли до утра. И солдатик—тоже с ними. Сперва у Лаврентьевых за столом сидел, а после с молодыми на толчок пошел. Как пригласил Анну Кирееву, так и танцевал только с ней. Анна, пожалуй, года на три постарше солдатика. Но выспела она как раз в войну, на безмужичье и до то-

го танцевала все больше с подружками.

А патефон все играл. Над Инюшкой плыли песни то про ямщика, то про валенки. Была, правда, еще одна, третья пластинка, но ее заводили редко. Название у нее было нерусское, мудреное. И песни на ней не было — одна только музыка. Когда солдатик Анну пригласил, как раз эту пластинку завели. И родилась музыка — тихая, нежная, неземная. И сразу отозвалась она острой болью, защемила сердце и не отпускала. Солдатик взял Анну за руку и повел в круг. Они не танцевали — плыли в этой музыке, ставшие невесомыми, невидимыми и ничего не видящими. Потом пошли к Инюшке, долго брели по берегу, пока не приютила их чья-то лодка. Говорить хотелось о сокровенном. Солдатик спросил у Анны, целовалась ли она, и та призналась, что да, один раз, давно — еще в школе. И он позавидовал ей, потому что ему вот не довелось, а теперь уж и не доведется. И вдруг он начал плакать. Совсем по-ребячьи: громко, захлебываясь, давясь слезами, жалуясь, что чувствует близкую смерть, видно, погибнет в первом бою. И не в том дело, что страшно ему — просто обидно, почему у него еще ничего в жизни не было и, наверное, не будет.

И Анна почувствовала себя взрослой рядом с ним. И пожалела его. По-женски щедро, как смогла. Лодка позвякивала цепью. Инюшка тихонько баюкала их. А где-то в высоте качались обмершие от свершившегося звезды.

Прощаясь, солдатик говорил, что теперь он ни за что не погибнет, что возвратится после войны сюда, к Анне, и обещал ей часто писать письма.

Он не прислал ни одного. Мария скоро получила бумагу, что сын ее Василий погиб вместе со всем эшелоном, еще не добравшись до фрон-

та. Выходит, обмануло предчувствие солдатика — не было у него даже первого боя. Зинка — скороспелая жена Василия — к весне родила сына Ивана — Василеву копию. Только ростом вышел не в отца — к двадцати годам в собственной избе головой притолоку задевал. Дивилась сначала Зинаида, а после догадалась: Василий ее и вырасти-то до конца не успел.

Анна часто плакала по своему солдатiku, однако никому не открылась. Грех ей на жизнь обижаться: и муж ладный попался, и троих детей родила, теперь уж внуков полно. А снится ей иной раз и музыка та неземная, и тихое позвякивание цепи, и осторожный плеск Инюшки, и медленное кружение звезд. Вся жизнь, считай, прошла. Но так никто, ни одна живая душа, и не узнала, что было тогда в лодке.

О многом мог бы поведать Анфисин патефон. Ведь у каждого, кто сидит сейчас здесь, с ним своя история связана. Мог бы, да не поведает — умеет хранить тайну. И о чем поет он сейчас — каждый понимает сам про себя.

...Последний раз Анфисин патефон играл в сорок пятом, перед самой победой. Уже в письмах мужики отписывали про города и реки нерусские, с названиями — язык своротишь. Совсем близко конец был. Готовили бабы потихоньку на светлый день хмельное. Ждали они мужиков — каждый день и час считали.

Тут и Анфисе вроде улыбнулось. Получила от Иннокентия письмо. Писал он, что свое отвоевал, что на их участке боев нет, что не сегодня-завтра должны их отправить домой, в Россию. Значит, миловала его судьба, и теперь скоро они встретятся. Анфиса от радости голову потеряла. Все так ладно у нее сходилась; Кеша живой-невредимый, председательскому

бремени ее конец подходит, и она не подкачала: дети живы-здоровы. Николка с Семочкой выросли, вытянулись — отец и не узнает. А Ульяна и вовсе невеста. Да, больно уж обрадовалась Анфиса. Бабы даже унимать ее принялись — тише ты, не сглазь! А она только отмахивалась от них, как от мух.

Угли эти проклятые они как раз жгли. Анфиса схватит бревно и прет его волоком одна, и хохочет на весь лес. Бабы только ахнут — и врассыпную: как бы не пришибла ненароком. Тут и подъехала Нюрка — почтарь с сумкой. Еще посмеялась над Анфисой и похвалилась: «И вчера я тебе письмо привезла, и сегодня!» Схватила Анфиса письмо, а сама все хохочет, остановиться не может. А как прочитала — руки зачем-то высоко подняла к небу и даже не вскрикнула.

Прямо в костер повалилась. Подхватили ее, а она уже не дышит. В письме-то — похоронка.

Хоронить Анфису вышла вся Шалаевка. Везли ее на председательской бричке, на которой всю войну ездила. Поговорили, что хорошо бы с музыкой проводить, заслужила, мол. Да где ее взять, музыку-то: оркестров здесь не было отродясь, баянисты пока не вернулись. В последнюю секунду додумался кто-то, поставил рядом с Анфисой патефон. Завели «Ямщика». Бричка подрагивала на ухабах, и поющий вместе с шалаевцами давился, захлебывался слезами. Кладбище в Шалаевке близко, и петь ему пришлось недолго. С тех пор и молчал Анфисин патефон до сего дня. Скоро другой музыкой разжилась Шалаевка. Победу праздновали под баян.

Владимир Мазаев

НОЧЬ ТИХАЯ, ГУЛКАЯ

Много воды утекло после войны, выросло новое поколение, а Булкина время от времени терзает один и тот же сон. На его окоп бегут немецкие автоматчики, а у него вдруг заклинило пулемет. Булкин яростно рвет ленту, передергивает затвор, снова рвет ленту — пулемет мертв. Немцы уже близко, бегут с перекошенными ртами, стреляя от живота — веером.

Пот заливает Булкину глаза, а над ним, потрясая пистолетом, рыдает мальчишка-взводный: «Давай, Булкин! Давай, Булкин! Давай, Булкин! Давай, т-твою!..»

Просыпается Булкин от собственного стога. Он долго лежит в тишине, с трудом узнавая смутные очертания комнаты, успокаивая бухающее

у самого горла сердце. Потом встает, меняет влажную от пота рубашку, снова ложится, жадно закуривает.

Чаще же всего в такую ночь его будит дочь Галя. Она прибегает к его постели, крепко зажимает ладонями его катающуюся по подушке голову: «Папа, папа, проснись!..»

Раньше это делала жена.

Наутро он ходит вялым, опустошенным; у него усиленно начинает падать волос. Постепенно все проходит. Булкин опять бодр, деятелен, мастера на буровых теряют покой и сон — работа движется вовсю.

Минует три-четыре месяца, иногда больше, — Булкин начинает ощущать в себе смутную тревогу. Он чувствует приближение той ночи. Это неиз-

бежно и ничего нельзя поделывать. Вечерами он пьет, а когда пить нечего, включает старенькую радиолу и слушает песню — одну и ту же весь вечер.

С утра в такие дни он запирается в своей служебной конторке, никому не открывает. Должность старшего бурового мастера такова, что он нужен всем. В запертую дверь то и дело тычутся люди. Ругнувшись вполголоса, уходят ни с чем.

Из-за дощатой побеленной перегородки просачивается теплый запах лекарств: там расположен медпункт. Отчетливо слышится томный голосок фельдшерицы Розы, разговаривающей с пациентами.

К запаху Булкин привык, а вот к Розинному голосу привыкнуть не может.

Когда-то Роза уехала из поселка в город, недавно вернулась. Из города вывезла она диплом фельдшера, загосовскую печать в паспорте, накладные ресницы и странную, витиеватую манеру выражаться.

Булкин наперечет знает ее поклонников. Роза живет в общежитии, и поэтому поклонники предпочитают посещать ее на рабочем месте, где она почти всегда одна. Народ здесь, в партии, преимущественно молодой и хворами не страдает.

Особенно частым ее «пациентом» был помощник бурового мастера Федор Харламов. Давно было, Федор сел пьяным за рычаги трактора и проехал мимо моста. Машину покалечил, сам отделался испугом, а для его пассажира пришлось вызывать санитарный вертолет. Федору дали пять лет, но вышел он досрочно, «по зачету».

Это был рослый, с крепкой шеей и угластым лицом парень, в общем-то мягкий, добродушный. Руки его от самых ногтей были в густых наколках, причем, довольно «веселых». Он стес-

нялся их, у него стало привычкой дергать обшлаги рубахи.

Однажды он не без намека пожаловался Розе на скуку окружающей жизни. Булкин в своей конторке только хмыкнул, когда Роза сказала отчетливо за перегородкой: «Так-то оно так, Федя, я тебя вполне разделяю, однако же во всем надо иметь стремление. Только тогда можно располагать на полный эффект».

Федя, должно быть, не совсем понял ее туманные слова, потому что вслед за внезапной и молчаливой возней раздался звук, похожий на нечто среднее между поцелуем и пощечиной. Возня продолжалась. И тогда Роза проговорила, но уже быстрым шепотом: «Я считаю правдивой симпатию того мужчины, который... который не выходит из предела рамок жизни...» И тут же шумно и часто задышала: «Задвижку, дурак, задвижку...»

Булкин просил начальника партии установить ему глухую переборку. Начальник только рассмеялся: «А ты, Васильич, не заводи в рабочее время секретов».

После полудня Булкин идет на конюшню, запрягает лошадь. Саный след вьется по Оинголу, повторяя изгибы ручья. Снег по ручью уже просел, стал стеклянносизым, отечным. На солнечных склонах голый осинник зазеленел стволами. Узкой просекой по неощукенным столбам скачет временная электрوليния.

Полуденная на санях, Булкин рассеянным взглядом скользит по знакомой до мелочей картине. Осенью, в гололедку, на линии начались обрывы. Замерли все три вышки по Оинголу. Булкин с коротким кавалерийским карабином в руках весь день ходил, состреливал с провисших проводов грузные ледяные наросты. У него тог-

да разболелось плечо, что было странно для фронтовика, воевавшего долгое время первым номером расчета противотанкового ружья, у которого отдача при выстреле — дай бог, немелому ключицу ломало.

Буровая примостилась на склоне гольца, усыпанном вытаявшим из-под снега горельником. Как гигантские черные кии, сиротливо торчали голые стволы.

Когда в прошлом году надо было подобрать сюда бригаду, Булкин столкнулся с неожиданной проблемой. Помощник сменного мастера Федор Харламов заупрямился работать на этой скважине. Причину Булкин узнал позднее. Федор был фанатичным рыболовом-хайрюзятником, а из всех близлежащих речек и ручьев во время давнего пожара скатился хариус. Смены трудились без выезда понедельно, и жалобам Федора не было конца.

Знал Булкин и другое: в последнее время жалобы прекратились, Федор затих.

На буровой была непривычная тишина. Булкин привязал лошадь, кинул клочок сена с саней, открыл дверь тепляка. Вся смена сидела на корточках вокруг скважины.

Сменный мастер с длинным, как кофейник, унылым лицом взглянул на вошедшего, громко выругался, будто подводя итог только что закончившемуся невеселому разговору. Федор Харламов сидел растерянный, дергал рукава грязной рубахи.

Булкин поздоровался, спросил: что случилось? Сменный сплюнул окуроч, длинное лицо его сморщилось:

— Вот этого артиста надо спросить. Отколол номер — часы в скважину спустил.

— Какие часы? — не понял Булкин.

— Обыкновенно какие — ручные.

— Счастливые часов не наблюдают, — хихикнул паренек-рабочий, шмыгнув измазанным носом и на всякий случай отодвигаясь от Федора.

— Чего ж сидите? — сказал Булкин сдержанно. — Ждете, что сами выпрыгнут? Загадили скважину, так вытаскивайте. «Паук» есть?

— Да это же полсмены! — мастер в сердцах вскочил, пошел в дальний угол тепляка.

— Золотые, что ли?.. — спросил Булкин. — Ну, золото на зубы пойдет.

— Я ему сперва родные выбью! — крикнул плаксиво сменный, с грохотом роясь в инструментальном ящике. — Мне полсмены дороже его вшивого золота с зубами впридачу!

Булкин сел на перевернутый ящик против Федора, стал закуривать.

— Как умудрился? Первый день на буровой?

Федор промолчал, еще пуще сгорбился.

— Браслет, говорит, лопнул! — снова крикнул из угла сменный. — А он раскрыл варежку, возится со снарядом над скважиной. Ну и...

Булкин раздумчиво сказал:

— Да, Харламов, тебе в самом деле тут не климат. Ребят начинаешь подводить. Придется уважить — перевести отсюда.

Федор — угрюмо:

— Куда — перевести? Еще чего...

— Здесь же рыбка не ловится, — сказал Булкин.

— А он сейчас здесь другую рыбку ловит. — Унылый мастер неожиданно рассмеялся.

— И не простую, а золотую! — в тон ему быстро проговорил паренек-рабочий.

— Ты кончай там! — Федор вдруг побагровел, зло уставившись на сменного, повернулся к пареньку, повел локтем: — А те, малолетка, кы-ык врежу между глаз!

— Давай шагай сюда, навинчивай! — прикрикнул строго сменный, держа в руках железного «паука», которым извлекались из скважин посторонние предметы. — Размахался, я гляжу!

Булкин ушел с буровой и по тропке, неровно бегущей вдоль тракторного следа, стал спускаться вниз, к домику, где отдыхали буровики.

Вблизи склон этот, хаотично заваленный обугленными, истонченными стволами, с пятнами ослепительно чистого снега, оставлял гнетущее впечатление. Должно быть, не меньше десяти лет прошло после пожара, а жизнь так и не вернулась сюда, на эту выгарь.

На взлобке, еще влажном от стаявшего снега, выклюнулись розово-лиловые стрелочки кандыка; два или три стебля торчали прямо из ледяной корки. Прозрачные, стрекозьи лепестки, едва отклеившись, нежно горели под закатным солнцем. Весна...

Булкин присел на поваленный ствол, снял кепку, положил на колени. Ветер шевелил поредевшие волосы, холодил кожу головы.

Он вдруг разволновался. Деревья, сгоревшие стоя, напомнили ему остовы печей фронтальной деревушки. Над черными вытянувшимися колодинами, точно над тлеющими угольями, тек воздух. Булкин ощутил внезапно приближение той ночи, и ощущение это сейчас было столь остро и агрессивно, что он зажмурился.

В домике, заставленном поленицами белеющих сердцевинами кругляшей, напиленных из окрестного горельника, он застал двоих — повариху, высокорослую девушку в мужской куртке с закатанными рукавами, и дочь Галю. На Гале была вязаная домашняя кофточка, заправленная в брюки, резиновые сапоги. Каждый

раз, когда он видел ее в этом грубом одеянии — да еще в шапке-ушанке, да в широких, как лопата, верхонках, — ему становилось не по себе. Все-таки своей дочери он мог бы подыскать более приличную работу.

Гудела, брызгала пеной стиральная машина. До самого порога топорщились горки грязной и уже стиранной одежды.

— Я, Галя, за тобой, — сказал Булкин, осторожно обходя стиранное. — Собирайся, поедем.

— Что ты? — девушка оглянулась на подругу. — У меня еще до вечера смена.

— Какая теперь смена! — сказал Булкин. — Харламов скважину ухитрился часами загадить. Теперь им в аккурат до конца смены их вылавливать — это как штык. Тебе тут делать нечего, поехали, поехали.

— Знаю, что нечего, вот взялась Шуре помочь.

— Шура и сама с остальным справится... Верно, Шура?..

— Нет, папа, — упрямо сказала Галя, — приеду со всеми, завтра. Перед ребятами неловко.

Булкин слишком хорошо знал свою дочь, чтобы не почувствовать в ней перемены. Горькая и вместе с тем снисходительная усмешка к тем своим привычным мыслям, что дочь еще девочка и что он, следовательно, еще долго будет нужен ей, тронула его губы. И, презирая себя за эгоизм, сказал тихо, обезоруживающе, теребя кепку:

— Слышь, дочь, поехали, прошу тебя. Как-то неладно мне нынче, смутно одному дома, тревожно... Со сменным я договорюсь, а?

Вечером Булкин сидел за кухонным домашним столом, пил.

Он пил, медленно хмелел, и на душе становилось проще. И ему в кон-

це концов хотелось только одного: крепкого беспробудного сна. «Несправедливо все это,— думал он,— молодость у нас была тревожной, а спалось дай бог, теперь же спокойно, живи да живи, а сна нет».

На кухню вошла Галя — принарядившаяся, стройненькая, ладная, схватила что-то из тарелки, торопливо стала жевать. Наклонилась к отцу, сказала просительно:

— Не пей много.

— А, дочка!.. — очнулся от своих дум Булкин. — Сядь посиди со мной.

— Не могу, меня ждут.

— Чего же он не зайдет?

— Он-то? Стесняется, наверное.

— Позови-ка!

— Ну, папа!

— Позови, позови, не съем.

Когда вошел Федор и, хмурясь, остановился у порога, Булкин не удивился.

— Что, пеша притопал? Силен... Присядь-ка. — Он пододвинул свободный стул. — А ты, дочь, оставь нас на минутку, у нас мужской разговор.

Федор сел, руки на растопыренные колени. Булкин вопросительно приподнял пол-литровку.

— Спасибо, не принимаю, — пробормотал парень, отводя глаза. — Урок жизни, завязал.

— Вот как? Извини тогда.

Выпил сам, погладил ладонью скатерку, спросил вдруг:

— Ну а как же Роза?

Федор дернул плечом, застучал по коленям пальцами.

— А чего Роза? С ей у меня всё.

— Завязано?

— Точно.

— Что-то ты, парень, гляжу, со всех концов завязанный, даже любопытно. — Булкин усмехнулся. — Как ты с такими художествами к девушке подходишь?

Федор смешался, даже скулы поро-

зовели, стал судорожно вытягивать рукава.

— Не сам я, Васильич, клянусь. На пересылке было, напоили кенты, друзья-приятели по-ихнему, разрисовали для смеху, сволочи... Да эт чего! А вот тут, — он хлопнул себя по заднице, — тут похлеще. В баню хоть не ходи... Точно.

— Память на всю жизнь, — почувствовал Булкин. — Да, забыл спросить: часы достали?

— Выскребли, гадство.

— А ну покажи?

— Да лепешка, Васильич, чего там!

— Все равно покажи, любопытно.

Федор морщась вынул из кармана носовой платок, развернул.

— Погоди, погоди. — Булкин наклонился, взял в пальцы помятый, без стекла корпус. — Это ж дамские, как штык. Ты что, дамские носишь?

— А чего, незаконно?

— Как этот браслетик на твою лапу налезил, вот что любопытно.

— Он длинше был, — пробормотал Федор, — «пауком» в скважине размо-
лоло...

Федор и Галя ушли. Булкин допил водку, потом поставил на радиолу пластинку, приглушил громкость.

«В полях за Вислой сонной лежат в земле сырой Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой...» — вполголоса пел знаменитый певец, даже не пел, а как бы проговаривал, чуть растягивая, слова, слышно было придыхание. Да, именно так, думал Булкин: о горе не кричат, горем делаются. У него покалывало глаза, горло сжимало в спазме, и он вдруг отчетливо начинал понимать, что тихая песня эта — о нем, о солдате Булкине, хотя ему и суждено было вернуться с бойни войны и жить, и увидеть в жизни еще много — и горького, и прекрасного. Такого прекрасного, как рож-

дение дочери, и такого горького, как смерть жены.

«Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой Сережку с Машей Бронной и Витьку с Моховой...»

И еще в такие минуты не давала покоя, терзала душу мысль, почему сон этот проклятый застывает на самом трагическом?

Он и сегодня отчетливо помнит: прыгающие над щитком фигурки автоматчиков, немой пулемет в руках, пот, съедающий лицо — и задыхающийся в отчаянии голос мальчишки-взводного: «Давай, Булкин! Бога мать, Булкин!..» И потом — навалившееся, сползающее с плеча тело взводного, его расширенные глаза и — мгновения, когда нет жизни и смерти, а одна только ярость, ярость и страшные слова с губ. И как акт высочайшей справедливости — внезапно загрохотавший, на расплав ствола, пулемет...

И последнее помнит Булкин, как сидит он на дне окопа, опустошенный, и умоляет ребят свернуть ему самокрутку...

Галя вбежала так стремительно, что Булкин вздрогнул.

— Папа! — крикнула с порога. — Идем скорее! Федор себя порезал!

— Ч-чего мелешь? — Булкин поднял тяжелую голову, увидел испуганные умоляющие глаза дочери, переспросил: — Как то есть порезал? С чего?

— Не знаю! Взял бритву и... и бритвой наколол с руки посрезал. Кровь... ужас...

— Фу, чертовщина какая! — Булкин опустился снова на стул, крепко потер лицо. — Так чего ко мне? К Розе надо.

— Да бегала я, а она уже спит, вставать не желает. Ни днем, говорит, ни ночью от твоего Федора покою... Какой он мой?.. А у него кровь...

Булкин крикнул, сказал трезвее: — А ну идем!

Ночь стояла тихая, гулкая. Высокое угольно-черное небо в пыли звезд. Поселок, тянувшийся двумя неровными рядами по берегам таежной речушки и соединенный мостиком, погружен в серебристую мглу. Лишь над крыльцом магазина холодно тлел плафон.

— Достала парня! — бормотнул Булкин, широко и нетвердо торопясь за дочерью по расхоженному за день, а теперь уже схваченному морозцем снегу.

— Уж так и достала, — обернулась Галя. — Я ему в шутку: ты бы, говорю, хоть перчатки носил при мне, что ли... Разве же я знала, что он чеканутый!

— Ну а с часами? Уж договаривай.

— И с часами тоже. — Галя приостановилась на секунду, взяла отца под руку, заглянула в лицо: — Только ты ему ничего, ладно?

— Ну-ну.

— Остались мы в тепляке вдвоем, он говорит: руку протяни. Ну я протянула, чего такого? А он — бах, часы мне застегивает. Я ему: ты с ума, говорю, кто я тебе, чтоб такие подарки? Он смеется. Я руку отдернула, а часы — веришь — прям туда! Я так и обомлела... Ну не чеканутый ли?

Они прошагали по шаткому мостику. Длинное бревенчатое здание конторы партии поблескивает темными квадратами стекол. Два крайних окна ярко, вызывающе освещены — медпункт.

Посреди комнаты, в кресле, сидит побледневший Федор, вытянув перед собой, как в боксерском ударе, бугристую от мышц руку. Рукав рубахи живописно оторван по самое плечо. Роза крепкими уверенными движениями накладывает повязку. Взгляд Фе-

дора, подчеркнуто безразличный, устремлен куда-то в угол.

— Все в порядке,— говорит Булкин, остановившись, неторопливо закуривает, треща спичками.— Но учти,— добавляет тут же,— вкалывать у меня он будет завтра, как штык.

Голос девушки дрожит от обиды:

— Она же почти выгнала меня!

— Все в порядке,— повторяет Булкин, горбясь и покашливая дымом.— Она просто решила тебя потравить. Роза — глупая женщина, но дело свое знает... Пойдем, что ли?

— Да я подожду.

— Ладно, дочь, только, пожалуйста, недолго. Я пока постараюсь не спать.

Однако непредвиденная прогулка проветрила, освежила голову. Булкин, придя домой, незаметно и быстро засыпает. Среди ночи, разбуженная его стоном, бежит к нему Галя. Булкин мучительно рвет паутину сна. Мальчишка-взводный голосом Федора кричит над самым ухом: «Давай, Булкин! Давай, Булкин! Давай!...»

Булкин просыпается, и в самых дальних клеточках его мозга долго еще звучит, затихая, рыдающий крик взводного.

— Ничего, девочка,— говорит Булкин хрипло, успокаивающе,— ничего, иди спи... Иди, а я покурю.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

29 марта 1944 г.

Привет, мам, тебе из Николаева. Сегодня я вошел одним из первых в Николаев и пишу тебе это письмо из города...

Вова

11 сентября 1944 г.

Хотелось бы написать о многом, но нет времени. Готовимся к окончательному очищению нашей священной советской земли от фашистской нечисти. Радио раньше моего письма принесет вам эту радостную весть, а отзвуки московских салютов затихнут,— наша армия будет уже готовиться к последней окончательной битве... И в этом походе как одна маленькая частица буду участвовать и я.

Напишу из Риги.

Валериан

7 августа 1944 г.

Милая дочка Ниночка!

Встань, почти память любимого тобой Виктора. Он страстно хотел жить, он мечтал о послевоенной жизни и иногда, сидя со мной в одном окопе, говорил мне: «Папа, ну почему ты не помнишь Нину? Она тебе все привет шлет...».

Погиб смертью храброго воина в горячем бою с врагом на границе дорогой мой единственный сын Виктор. Тяжело, Нина, мне старому воину, отцу. Проклятый снаряд не мог угодить в меня. Зачем погасла молодая жизнь, а с ней все его мечты и надежды?..

Получена долгожданная почта. Передо мной письмо матери и три твоих. Все, как хотелось, но нет около меня Виктора, он не услышит, что пишет мать, что пишет Нина... Тяжело мне, дочка. Слезы сдавили горло.

Прощай, дорогая! Нам скоро в бой...

П. Петров

Валерий Зубарев

МОНОЛОГ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

До умопомрачения мне больно,
коричневых чудовищ эпигоны!
Я ненавижу вас, а не молю,
когда, ломая пленнику ключицы,
жестокая действительность стучится
прикладами в действительность мою.

И все во мне истерзанно бунтует,
но мужество опять меня бинтует,
смотреть повелевая в телеглаз,
пророчит: близок страшный суд над бойней,
уже над нею грянул, пусть не божий,
а только человека гневный глас.

Наемники, ах, как же вас падули,
в монету тщитесь превратить вы пули,
свинец в башку — всего-то барыша.
Не ровня вам — алхимики веками
не там искали философский камень,
ведь камень тот в груди у торгаша.

О желтый блеск миражного металла...
Замолк экран — во мне не замолчало.
Но знаю, как и всякий жизнелюб:
опять боев локальных грохотанье
избудется во мне под лепетанье
то женских губ,
то детских губ.

И ничего как будто не случится...
но неожиданно осознаю:
жестокая действительность стучится
прикладами в действительность мою!

* * *

Отец мой, ты сын мой...
Тебя
впервые без боли
рождал я,
когда затихал, беребя
твой ордена и медали.

Казалось, и грудь не узка,
и плечи твои
не сутулы...
И лишь фронтовая тоска
из глаз
запредельным подула.

Так чем же ты
дух мой вскормил
и послевоенное тельце,
что я полюбил этот мир,
такой разобщенный и тесный?

В котором,
как будто навек,
мы прошлое будущим мерим
и мыслится человек
пока лишь
космическим зверем.
В котором ты гнулся,
страдал —
в пресыщенном и несытом...
и в муках
тебя рождал,
и был ты
единственным сыном.

...А нынче
рождаюсь я сам...—
что там, в голове твоей детской,
каким продолжаюсь я там,
мой сын?...—

и отец мой,
отец мой...

ВETERAN

Чем не счастливый отец он и дед? —
выросли дети и внуки.
И, пригласив на семейный обед,
с ним рассуждают без скуки.

Только и к жизни не тот аппетит,
чтоб через силу держаться...
Юность сгорела,
пепел летит... —
слепнут глаза и слезятся.

Только и может в рассказах своих —
так, чтоб дошло до печенок,
дернуть сто граммов
не тыловых,
в жизни врачом запрещенных.

После, как водится,
жадно курнуть...
(Даром, что в жизни порою

рад затануться бы в полную грудь
воздухом,
а не махрую.)

...Вслед горизонту бежит,
как юнец,
крытый смертельною мглою,
ждет и не верит,
что там наконец
небо
сомкнется
с землею.

Ждет и не верит,
что этот юнец
с маху
опять натолкнется
на отшибающий память свинец...
и молодым
не очнется.

Иосиф Куралов

ДЛЯ МЕЛКОГО В ОГРОМНОМ МЕСТА НЕТ

Отрывок из поэмы

Для мелкого в огромном места нет.
Россия победила в сорок пятом.
Пир начался. Мелькнуло много лет
В Отечестве, Победою объятom.

А вы, союзнички, раз-два, кру-угом!
И—за одну компанию с врагом.
Победа вас не очень увлекла.
А общая кампания была.

Мы в занавес железный завернулись,
Чтоб вам не видеть, как мы вахлебнулись
Солеными слезами, кровью, потом,
Когда мы пировали по субботам.

По воскресеньям тоже пировали.
Ладонями земную твердь вскрывали.
Поберегись, родимая сторонка!
В ладони хлопнем — и в земле воронка,

Хотя бы и с природою вразрез:
Нам позарез был — угольный разрез.
Шел пир труда. Жестоко. Беспробудно.
А нам без праздника работать трудно!

Чтоб сделать будни нам разнообразней,
Шли на работу с песней, как на праздник.
И праздновали в шахте, без обеда.
Не вам судить, раз к нам пришла Победа!

Пузатых кошельков мы не имеем.
Мы нищие. Но мы вас так жалеем!
И нашу бочку слез на вас не катим.
За слезы только мы деньгами платим.

Мы покупаем слезы всей Земли,
Чтобы они дождем у нас прошли.
Мы — океан. И знаем мы заранее:
Не больше станет соли в океане.

Страну война ограбила жестоко.
А солнце шло не с Запада — с Востока.
К нам против солнца — с Запада пришли.
Все, что искали здесь, они нашли.

Нам многого по списку не хватало:
Отца, еды, руки, ноги, жилища.
Все, что имели мы, броня впитала:
Зато духовная ценилась пища.

К вершинам духа нас вела дорога.
Раз мало хлеба, значит — неба много!
Мы только небо в мире замечали.
И с чистою душой «ура» кричали.

— Ур-ра-а-а! — в пространстве русском
раздавалось.

Качало звезды, в душах отзывалось.
— Ур-ра-а-а! — на Красной площади с утра.
— Солдаты, с праздником!
— Ура! Ура! Ура!

Когда душе в груди и в горле тесно.
Мы не умеем говорить нечестно.
И не умеем говорить бесстрашно.
Масштаб души — Российское Пространство.

И вы к пространствам нашим примерялись?..
Да вы бы, как пылинки, потерялись!
Не выучили вы простой завет:
Для мелкого в огромном места нет.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

18 ноября 1944 г.

Дорогие мамочка и сестра Лидуся! В эти свободные минуты я понемногу сочиняю слова к песням и сразу же мотив. На днях как-то вышла песня с удачным припевом. Вот она:

Как часто вспоминаю на привалах,
Курю, сижу и греюсь у огня.
А образ девушки и милой и далекой
Стоит перед глазами у меня...

Ваш Юра

7 января 1945 г.

Здравствуй, мамочка! Я на седьмом небе от счастья. Я получил от папочки первое письмо после полугодового перерыва. Он, оказывается, недалеко от меня. Папочка предлагает встретиться в Берлине. Но я думаю, что встречать буду я, так как у меня первоклассная машина, и ему за мной не угнаться...

Борис

12 января 1945 г.

Мы по-прежнему идем вперед. И наш путь до Берлина, до него уже недалеко...
Крепко целую.

Галка

Геннадий Естамонов

ПРОЩАНИЕ С ВЕРХОТОМСКИМ ГНЕЗДОМ

...Детдом для нас, детей войны, был гнездом, из которого мы, еще совсем не оперившись, выпали в мир, где не было родного дома, где нас никто не ждал. И немногим удалось опериться и взлететь... Детдомовцев настигали шальные пули ушедшей войны...

Из последнего письма блокадника Ленинграда, воспитанника Верхотомского специального детского дома № 3 Юрия Смирнова к автору
Январь 1958

Наверное, у каждого из нас есть такое место, куда мы стремимся возвратиться и возвращаемся часто, увы, только в мыслях. Это родительский дом в каком-нибудь дальнем селе, или домишко на окраинной улице городка, или просто место, где этот дом стоял, а разросшийся город поглотил его, как поглощает в половодье большая река мелкие речки, ручьи и родники, которые в сухое время питают ее. А может быть, это школа и даже класс, куда стоит войти, открыть бо-язливо дверь и услышать знакомый голос твоего любимого учителя, который ворчливо заметит: «Опять опоздал!» Короче, у каждого из нас есть место, где мы впервые и неожиданно осознали себя личностью, где научились мечтать и загадывать свое будущее и, разумеется, будущее это нам виделось только великим...

А иначе и не должно было быть. Страна великая, народ великий, и мы, ее рядовые, устремленные в коммунистическое завтра, несомненно обязаны были быть великими. Из малых

великих дел складываются большие великие дела. Что же здесь неясного? Это же как дважды два — четыре. Чапаев и Буденный, челюскинцы и Павлик Морозов, Матросов и Володя Дубинин, молодогвардейцы и Зоя Космодемьянская, а сколько еще других, чьи имена мы просто не могли запомнить. Да и как это сделать, если мы кругом первые: в спорте, в науке, труде... Так что и нам хватит места в делах значительных и великих...

А пока мы с Шиндером, развалившись на чистейшем, как просо, песке, жарились под солнцем на острове Страдания. Остров этот был далеко и от детдома, и, что еще лучше, от Верхотомского домотдыха. И редкие лодки отдыхающих приплывали сюда. У отдыхающих был свой остров, прямо напротив домотдыха и назывался он островом Любви. А сюда, на остров Страдания, приплывали лишь те, кому, как говорят, не повезло в любви.

Выходило, в любви везло почти всем и, кажется, даже мне...

Мы молча смотрели то в бездонное, почти прозрачное небо, словно пытались углядеть там звезды, то, меняя позу, облокотившись, обозревали зеркальную гладь реки и остров Любви вдали, который казался отсюда маленьким подгоревшим блинчиком. Зато напротив него пологий склон берега, поднимающийся к Верхотомке, был таким зеленым, будто по велению какого-то щедрого завхоза его покрасили прошлой ночью. Первосортная краска еще не высохла, и потому так изумрудно сверкал склон, а на нем бело-бирюзовая, в золотых отблесках бабочка. На самом деле это старая деревянная церковь, всегда ухоженная, как могила дорогого родственника. Но поражало меня другое: плывешь ли ты по течению реки или против, всегда взору твоему вначале являлись церковь на холме, а уже потом угадывалась в стороне деревня. Когда, разогнав лодку, мы проскакивали быстрое течение возле каменного «бойца» и нас медленно отнесило от берега, каменный утес отодвигался как занавес и открывал нам высокий пологий холм с белолазурной церковью на нем. Как сумели выбрать такое место первые поселенцы и острожане верхнетомские?

Мы, детдомовцы, бывали возле этой церкви и в ней, особенно на пасху и в родительский день, когда старушки и подобревшие от сивухи селяне угощали нас куличами, яйцами и другими яствами. Мы усердно набивали ими свои желудки, как солдаты свои ранцы боеприпасами.

Детдомовцев в деревне не очень жаловали, но в день Пасхи или родительский, в день всеобщей любви, селяне словно соревновались друг с другом в щедрости и добросердечии и ублажали нас сильно. «Сиротки вы наши милые... Вот ведь что война наделала!» А нам казалось даже, что «светлое коммунистическое будущее»

наступило. На завтра после непомерного обилия мы мучились животами: у одних запоры, хоть зубилом пробивай, у других такой понос, хоть подойник подвешивай...

Потом церковь сгорела. Говорили, что враги попа, антихристы специально подожгли ее. Намекали даже, что это могут быть и детдомовцы. Скажу сейчас, задним числом, что этого мы не делали. Нам правилось смотреть на холм с церковью со стороны реки. А однажды на стареньком теплоходе мы возвращались из города и, когда лазурно сверкнула церковь на холме, дружно закричали: «Наша церковь!» Потому что от нее повеяло теплом родного угла...

— Ну, отдышался? — спросил Шиндер с нескрываемым высокомерием чемпиона. Он у нас был чемпионом по плаванию, и сюда мы приплыли на «ручках», хотя и по течению, но я чертовски устал. Один бы я никогда не решился на столь рискованное мероприятие и никогда бы так и не узнал, что плаваю не очень уж плохо. Все-таки около трех километров отмахали.

Правда, Шиндер возле меня, как старый морж около моржонка, кругами плавал и даже несколько раз, когда меня, кажется, совсем оставляли силы, предлагал плыть к берегу. Но я был упрямым, злился и решил лучше утонуть, чем повернуть к берегу.

— Отдышался, — ответил я радостно и облегченно, как Шиндер, когда сдавал очередной экзамен.

— Тогда говори свою тайну.

Ради этой тайны я, собственно говоря, и поманил его на остров. Словно, узнав ее там, Шиндер забудет о ней в детдоме.

— Знаешь, Толя, — я назвал его по имени, подчеркивая тем самым тор-

жественность момента, а главное, что он мне самый близкий друг,— мне стала сниться по ночам Зоя Комарова. Шиндер разразился оглушительным хохотом. Потом перешел на писклявый смех, то катаясь по песку, то прыгая на четвереньках. Было мгновение, когда я подумал, что у него бешенство и вот-вот он подпрыгнет ко мне и укусит за ляжку и, заразившись бешенством, я тоже начну скакать на четвереньках и визжать. Но он неожиданно затих, распластался на песке, как заснул, а потом медленно повернулся и сказал презрительно:

— Дурак ты, Естамон, какой дурак!

— А почему дурак?

Он снова засмеялся, а потом произнес с таким превосходством, словно был отличником он, а не я.

— Дурак, влюбился ты, вот и все тут.

— А ты откуда знаешь, что я влюбился?

— Да мне и Зойка, и Райка, и Машка, и Нинка уже снились...

— Так ты что?.. — ошалело спросил я. — Всех их любил?

— Да!

— И Зойку?

— И Зойку.

У меня или потемнело в глазах, или померкло солнце, но я ничего не видел — так, если бы мне голову укутали одеялом.

— Не может быть, — чуть не плача, сказал я. В другой момент я бы не задумываясь, сунул ему в рожу, а сейчас вел себя, словно виноват перед ним.

— Может быть... Но ты не бонсь, я Зойку только раза два в темном углу прижал, и все. А вот с Нинкой поспал.

— Ка-а-ак пос-па-а-ал?.. У нас же пацановская спальня, а девчонки наверху.

— Дурак! — раздельно произнес

Шиндер. — Ты что, не видал, как спят отдыхающие?

— Но они же не спят...

— Спят! Только друг на друге...

— Врешь Шиндер! Она же девочка.

— Девочка — щелочка!.. — Он засмеялся. Вскочил. — Ты к Нинке подвали. Она не жадная... И тебе перестанет сниться Зойка.

— Ты что? Опупел!

— Это ты одурел от своей учебы. — Он побежал к воде и, обернувшись, крикнул: — Ослеп совсем?

Серебряный фонтан брызг поднялся возле него, он взмахнул руками и исчез под водой.

Плыл Шиндер красиво и быстро, то высоко выпрыгивая из воды, то скрываясь в ней. Через некоторое время он кричал по-тарзаньи уже на берегу (Шиндер единственный из всего детдома посмотрел несколько серий «Тарзана»). Махал руками.

Раскаленный песок жег мое тело, а меня бил озноб, и я с какой-то мстительной злобой думал о своей скорой смерти, о том, как печальный обойду незаметно все свои любимые места в детдоме, прощусь с Верхотомкой... А потом заплыву на середину Томи, брошу последний взгляд окрест, выдохну весь воздух из груди и нырну глубоко-глубоко, так глубоко, что даже если и захочу вынырнуть — не смогу, воздуха не хватит. Размышляя так и жалея себя до слез, я как-то незаметно заснул.

Проснулся я от головной боли, солнце почти село, и только узкий веер последних лучей золотил макушку Лысой горы. Вода была почему-то холодной, а потом стало страшно, казалось, что из глубины вот-вот выплывет рыба и если не проглотит меня, то ногу-то уж оттяпает точно.

Когда я, совершенно измученный, выкарабкался на берег, меня одолел идиотский смех. Какая рыба?.. Пос-

ледные язв дохнут. Но смеяться мне долго не пришлось. Заедали комары, а когда я полуголый вошел в лес, они набросились на меня, как детдомовцы на пасхальный кулич. Думал — не добежу до спальни, где остались мои штаны и рубашка.

На следующий день Шиндер сказал, что он все мне натрепал. Он усмехнулся настырно, но на суше вел себя со мной более осторожно.

— Не горюй, Геша! — подбодрил он меня, похлопывая по плечу. — Ты напиши ей записку и предложи дружить... А то на нее зуб точит Стуликан.

— Какой зуб? — подозрительно переспросил я, думая, что он опять надо мной смеется.

— Какой-какой? Какой у всех... Ремеслушники народ шустрый, имей в виду. Да поживее действуй, а то если будешь, как до сих пор, ходить вокруг да около, вздыхать да смотреть горящим взглядом... Просмотришь!

Я покраснел. Ведь я же ему не говорил об этом.

— А ты откуда знаешь, как я смотрю?

— Я все про это знаю...

И я поверил Шиндеру, что он многих девчонок видел во сне, а значит любил...

Я написал записку: «Зоя, давай дружить», получил от нее ответ и был на седьмом небе, хотя там было всего два слова: «Я согласна». Шиндер заметил мое радостное настроение, а я не стал таиться от него. И, когда мы остались вдвоем, сразу же и бухнул ему:

— Шиндер, она согласна. Что дальше делать?

— О, поздравляю! — ухмыльнулся он. — Веди в лес...

Я хотел въехать в его наглую физиономию, но он был настороже и очень резво отскочил.

— Ты что, дурак! Я имел в виду лес домотдыха.

— А туда-то зачем? — подозрительно спросил я.

— Зачем мы ходим?.. Фотографироваться. Вот ты и позови сфотографироваться на память.

Чудак Шиндер. Зачем мне фотографироваться? Я же люблю Зойку, и как только мы выйдем из детдома, а это совсем скоро, мы сразу же поженимся. Но я ему об этом не стал говорить, зная его болтливость, и даже согласился:

— Пожалуй, ты прав...

— Тогда иди потихоньку в домотдых, а я пошлю Зойку.

В лесу, который разделял территории домотдыха и детдома, я спрятался за сосну и стал ждать. Что я побегу туда? А вдруг Зойка не придет? Чем дольше я стоял, тем сильнее усиливалось мое волнение и чувство какой-то непонятной вины...

Но вот послышались шаги, и Шиндер с Зоей, держась за руки, сбежали с нашего склона. Они остановились почти рядом с сосной, за которую почему-то я поспешно спрятался и даже перестал дышать. Я завидовал Шиндеру, что он вот смело может держать девчонку за руку, и злился на него. Как он смеет это делать? Ведь я же люблю ее!..

Шиндер что-то сказал Зойке, она засмеялась, и они стали медленно подниматься в гору.

Я хотел окликнуть и побежать за ними, но тут я увидел, как Шиндер хозяйски положил руку на Зойкино плечо, и я опустился на землю, готовый грызть ее зубами, чтобы только не завывать от горя...

Новый директор детдома Венямин Алексеевич Каменский решил раз и навсегда — детдом для детдомовцев. Поэтому бывшие воспитанники, кото-

рые учились в ремесленных училищах и школах ФЗО, теперь не имели права появляться в детдоме ни в выходные дни, ни тем более летом. А они, бестолковые, появлялись. Их тянуло в детдом, как мух на мед.

Если вдуматься, то это сравнение даже оскорбительно. Их тянуло не на мед, какой там уж мед в детдоме! Тянул их дом родной, которым стал для них детдом. Звали их братья и сестры — детдомовцы, с которыми были еще не доиграны многие игры. И они перлись в детдом, эти замызганные фэззушники и ремеслушники, чихая на все запреты и указания. Зимой, на ночь, они все равно прошмыгнут в «спалку» мимо зазевавшегося дежурного воспитателя или залезут в форточку и на узких койках своих друзей в тиши ночи и безмятежной сонливости поведают им о вольной и шикарной жизни в городе.

И никто из друзей не спросит их: чего же вы бежите двадцать километров в стужу от райской жизни в какой-то задрызганный детдом. Не спрашиваю и я Юрку Крюкова, длинного и «складного» ремеслушника, который умещается со мной на узкой койке и так умеет складываться, что мне, ей-богу, нисколько не тесно с ним. Не спрашиваю Юрку и потому, что совсем не верю в «райскую» жизнь, и потому, что как бы ни жилось хорошо где-то, а дома среди своих все же лучше. Недавно я закончил читать «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

Но как бы ни были заняты разговоры о «вольной» жизни, сон все же берет свое и заполночь самые терпеливые слушатели уже не подают признаков восхищения. Замолкают и самые заядлые фантазеры под суконным одеяльцем, а по братским телам, греющим друг друга плотным сплетением, ползают бодрые вши ремесленников.

В конце недели начинается генеральная баня, а еще раньше появляются девчонки с головами, туго обмотанными полотенцами. Они уже получили свою порцию дуста. За гостеприимство. К ним ведь тоже приезжают девчонки-ремеслушницы, но в отличие от наших пацанов тех не радует вольная жизнь, и, уходя в город, они льют слезы, будто прощаются с Верхотомкой навсегда.

А может и правда навсегда? Директор все свирепее относится к бывшим воспитанникам и к тем, кто их принимает. Но ведь недалек день, когда и мы станем бывшими. И нас ждет судьба изгоя в родном доме. Значит, и нам предстоит проститься с Верхотомкой навсегда.

Еще месяц назад тех, кому исполнилось четырнадцать лет, приняли в комсомол. А сейчас мы на нашей старенькой полutorке мчим в город, в райком комсомола.

Языками пламени горят пионерские галстуки, и, кажется, когда я оглядываю ребят, теплый ветер вот-вот раздует их в огромный костер. Гудят трактора по обеим сторонам дороги, и чинные скворцы и галки трудолюбиво склеивают на черных отворотах земли зазевавшуюся живность.

На нас тоже новенькие, праздничные суконные костюмы, которые нам разрешили надеть ради такого торжества. И если бы не красные галстуки, то мы бы смахивали на молодых скворчат, покинувших свои гнезда, но не умеющих еще летать. И когда мне приходит это на ум, радость моя убывает. Ведь нам, торжествующим сейчас в этой полutorке, совсем скоро предстоит покинуть родной дом. И пугает, может, не прощание, а та новая жизнь, в которую нам предстоит окунуться, как в незнакомый омут. Глубина там или коряги, о которые можно разбить голову и очень даже

просто запутаться и не вынырнуть...

Узкой лентой вьется дорога, сельская ухабистая труженица, подпрыгивает на ухабах старая полуторка, и, хватаясь друг за друга, мы непрерывно хохочем. Поля вдоль дороги тянутся до самого города. И не приходит даже мысль, что встанут здесь новые корпуса цехов, приблизятся к самой деревне, будто каменной грядой закроют наше родное Верхотомье. А чтобы отвратить нас совсем от родного гнезда, пойдут кислотные дожди и там, где спели огурцы и прямо на корню зрели помидоры, будет чудом отыскать их. И даже знаменитые сосны Верхотомского бора перестанут быть вечнозелеными, к середине лета покрываясь пожелтевшей хвоей... А теплые южные ветры принесут в Верхотомку не радость долгожданных осадков, а тухлый запах сероводорода, окислов азота, фенола и прочей «прелести» химизации народного хозяйства. И сравняется наконец деревня с городом ароматами цивилизации...

Мы с Зойкой столкнулись нос к носу. После того как она согласилась письменно дружить со мной, мы еще ни разу не разговаривали наедине. От неожиданности что ли или просто чтобы хоть что-то сказать, лишь бы побыть с нею рядом, я промолвил:

— Пойдем, Зоя, в домотдых, сфотографируемся...

— А зачем?

— Так просто,— и добавил нехотя,— на прощанье...

— Пошли.

Мы шли с ней рядом, я косил взглядом, видел, что она как-то загадочно улыбается, и злился на себя. Дурак. Ну почему я сказал ей, что на прощанье. Ведь я собирался на ней жениться. С другой стороны, вроде все верно. Вот сдам экзамен за седьмой

класс, получу свидетельство — и прощай, детдом. А она еще будет здесь целый год.

Перед фотоаппаратом мы сели несколько поодаль друг от друга.

— Вы что — поругались? — И фотограф нас сдвинул бесцеремонно.

Сейчас, когда через много лет я смотрю на фотографию девочки в простеньком ситцевом платье и на мальчика, чем-то отдаленно похожего на того, который пишет эти строчки, то вижу на его лице яркий, почти алый румянец, хотя фотография черно-белая.

Вскоре начались экзамены, и тут уж стало не до Зойки Комаровой. Надо было все время, все свое упорство и старание отдавать им. Дело в том, что всех воспитанников, окончивших семь классов, отправляли в ремесленное училище, а тех, кто к пятнадцати годам не сумел окончить семь классов,— в школы ФЗО. И только круглым отличникам предоставлялась возможность учиться в средней школе или продолжить учебу в техникумах на государственном попечении. А мне и моему другу Юрке Смирнову такой реальной возможности не представлялось — у нас с ним предполагалось в свидетельстве по одной четверке. У меня — по русскому письменно, у него по Конституции СССР. Мы решили приложить все усилия, чтобы эти четверки ликвидировать. Нам это не удалось. Четверки, как выяснилось после экзаменов, остались, и мы решили на свой страх и риск поступать в техникум, хотя нас Каменский предупредил сразу, чтобы на государственное обеспечение мы не рассчитывали и он уж об этом позаботится. Так что придется учиться нам лишь на «стипендию», а когда мы поймем, как это трудно, то можем не успеть оказаться и в ремеслухе. Мы его предупреждение выслушали, но поступить решили по-своему, мало

того, я уговорал еще в нашу компанию Витю Голубева, а у того было троек. Витька согласился довольно быстро, и главным козырем у него была старшая сестра, которая не оставит его, когда будет особенно туго.

Нам же с Юркой на помощь со стороны не приходилось надеяться. У него в Ленинграде после блокады вряд ли кто остался в живых, а у меня престарелая бабка в Нарыме с 20 рублями пенсии — надежда малая.

Но нас тогда не трогали предстоящие трудности, волновал лишь момент, когда мы в морской форме, с лейтенантскими погонами появимся вдруг в детдоме после техникума. Вот мальчишки будут завидовать, а девочки просто ошалеют. Но я больше всего представлял восхищенный взгляд Зойки Комаровой. Я не задумывался тогда, где она будет, потому что знал точно, что где бы она ни была, я разыщу ее и в своей новенькой офицерской форме поведу в загс.

Как мы предполагали, так и случилось, у нас в свидетельствах оказалось по одной четверке, чем был омрачен выпускной вечер. Даже боевые ордена и медали нашего дяди Вани — Ивана Антоновича Клопова — инструктора по труду, всеобщего любимца детдомовцев, родного для всех нас человека, одетые впервые по такому торжественному поводу, не привлекли нашего особого внимания и мало способствовали хорошему настроению. Ребята трогали ордена, позвякивали медалями, ведь они впервые видели любимого учителя в таком героическом обрамлении. А торжественные и хвалебные слова, сказанные директором детдома Каменским в наш адрес, только ухудшили настроение. Ведь это по сути было торжественное признание факта, что жить нам теперь на собственные копейки. Директор, правда, приправил свою речь несколь-

кими возвышенными фразами типа: «Только упорные достигают сияющих вершин... Труд позволяет достигнуть всего, что пожелает целеустремленный молодой человек...»

Кругом веселились, пели песни, танцевали, радовались, как при встрече дорогих и близких родственников, и никто, кажется, не подумал о том, что завтра, буквально завтра предстоит горестное прощание с Верхотомкой, с детдомом, а главное, может быть, с беспечностью детства...

И если в Верхотомку, в детдом, мы еще могли вернуться, несмотря на самые строжайшие запреты Гуся, так мы звали нелюбимого директора, то вернуться в детство мы уже никогда не сможем...

После праздничного веселья, как я и предполагал и как позднее убеждался не раз, наступает грусть прощания. Первыми отправляли девчонок в ФЗО. Они ревели, обнимались со своими сестрами-подругами, отходили и снова бросались друг к другу.

В этом мрачном прощании я молча глотал слезу на директора детдома. До экзамена в техникум было далеко, и я бы мог жить в детдоме еще два месяца, но я попросился съездить в Нарым к своей бабушке, которую никогда не видел. Директор меня отпустил. Выдал на дорогу деньги и сухой паек, а еще справку, что я еду к своей бабушке на дальнейшее воспитание. Справке этой я не придавал вначале никакого значения. Ну еду и еду. А потом мне кто-то подсказал, что с этой справкой, если я поступлю в техникум, я не получу всего, что положено воспитаннику детдома... А, будь что будет!

Витька Голубев поступил в речной техникум; я, хотя и сдал экзамены на «отлично», не прошел медицинскую комиссию по зрению, а это значило, что мне не бывать штурманом речного пароходства. И почти убитый та-

ким поворотом судьбы, я случайно был зачислен в Кемеровский химико-механический техникум на непонятную мне специальность: технология связанного азота. Хватило ведь ума не уничтожить экзаменационный лист речного техникума. Юрка же Смирнов поступил в авиационно-строительный техникум — он любил круто менять свои мечты. И чтобы быть не голословным, скажу сейчас, что позднее он ушел с третьего курса техникума, хотя учился хорошо, и отдал всю свою новую страсть виолончели, с которой и пошел служить в армию.

Мы появились в детдоме почти одновременно, и я хотя и терзался своей неудачей, но рад был почти так же, как и Юрка с Витькой. Мы выполнили свою нелегкую задачу, и все трое поступили в техникумы. Если Юрку и Витьку приветствовал директор, хоть и без большого энтузиазма, то у меня прямо спросил: «Что тебе нужно в детдоме? Ты же уехал к бабке со справкой». Я, понутив голову, молчал. Не говорить же ему, что моя бабка перебивается в деревне с хлеба на квас да и живет больше сердобольным подаванием деревенских, которые не могут обречь старуху, прожившую там всю жизнь, на полуголостное существование.

Молчание затянулось, директору, видимо, это надоело, и он махнул рукой. И означало это, что я могу жить оставшиеся десять дней в детдоме.

Я был доволен. Прощание с детдомом пусть на короткое время, но затянулось. И десять дней для меня были, может быть, радостнее, чем вся моя прошедшая жизнь в детдоме.

Но радость моя была скоротечной. Сашка Стуликов, который уже закончил ремесленное училище, презирая директорский запрет, был все лето в детдоме. Пацаны его регулярно подкармливали, а ночи он проводил или у дяди Вани в Верхотомке, или у дру-

гих сердобольных воспитателей. Директора Каменского он в упор не замечал, и когда тот спрашивал, что он делает в детдоме, Стуликов, не скрывая презрения, отвечал, что гостит не у него, так что пусть он успокоится.

И вот этот бесстрашный и независимый Стуликов говорит мне однажды: «Пойдем в уборную. Есть разговор».

У меня в горестном предчувствии сжалось сердце, и я поплелся за ним, как на казнь. Я понимал, что разговор будет серьезным. В уборной у нас некоторые пацаны покуривали уже и обсуждали секретные планы. Уборная была кирпичная, как маленькая крепость, хотя была перегорожена тонкой деревянной стенкой. Так что все разговоры девочек за ней, как и наши, оставались тайной до тех пор, пока какой-нибудь писун первый не выскочит наружу. Еще меня поражала массивная каменная кладка, как будто делалась она для того, чтобы когда-нибудь стать историческим памятником.

...Каменная уборная так и стоит до сих пор как памятник неразумному труду, и запах в ней тот же, но одним она примечательна: кажется, до сих пор хранятся в ее стенах детдомовские тайны...

Сашка скрутил козью ножку, затыкнулся так, что глаза заслезились и покраснели, но не закашлялся, а объявил мне суровый приговор:

— Зойка тебя больше не любит.

Голос его звучал откуда-то сверху, хотя был Сашка на полголовы ниже меня.

— А-а-а ты-ты-ты-то откуда знаешь?..

Меня покорило больше всего, что говорит мне это Сашка, а не сама Зойка. Сказала бы сама — и обида была бы немного терпимее.

— Пошли! — Сашка вышел на улицу и свистнул.

С другой стороны уборной выплыла Зойка, она даже не шла, а как-то плыла независимо. И по ее виду я понял, что эта подлая изменщица меня правда больше не любит.

Дул теплый ветер, жалобно поскрипывали раскидистые сосны, дружелюбно попискивали синицы. Я стоял, убитый, ковыряя носком ботинка перзревшую траву, а они спокойно удалялись от меня. Сашкина рука по-хозяйски лежала на Зойкином плече. Они даже, казалось, тихо разговаривают и пересмеиваются. И мне стало до горечи завидно, как они хорошо идут и что-то неуловимое и непонятное объединяет их.

И я решил зарубить их топором. Нет, сначала мне пришла простая и ясная мысль, что вот я и прощаюсь навсегда с Зоей Комаровой и она не узнает никогда, как я любил ее.

Наступило время отъезда в техникум, и расправу с Сашкой и Зойкой пришлось отложить на более подходящее время, так как сейчас меня поразила другая несправедливость.

Юрке Смирнову и Витьке Голубеву выдали выходные суконные костюмы и простые, хлопчатобумажные, новые яловые ботинки, зимние и осенние пальто, суконные новые одеяла, простыни и наволочки. Их собирали как на северный полюс. Я же такого добра был лишен, так как директор объявил, что я ведь уже отправлен на дальнейшее воспитание к бабушке, а потому согласно закону лишен всего этого.

Учебу в техникуме я начал в осеннем пальтишке и почти с голой задницей — много ли нагреют хлопчатобумажные штаны в зимнюю стужу. Обиженный на такую вопиющую несправедливость, я, забыв о Зойке, простался с детдомом и Верхотомкой навсегда. А разве о таком прощании с родным домом мне думалось совсем недавно?

Лил дождь, дорога размокла и раскисла, как перестоявшее тесто. Мои друзья Юрка Смирнов и Витька Голубев уехали раньше, и я был рад, что они простились с детдомом в солнечный день, а я вот иду один по липкой дороге, и бегут по моим щекам то ли дождины, то ли слезы, и приходят на ум неожиданно облегчающие душу строчки:

В день дождливый, слякоть, непогоду
Брел, меся, как тесто, грязь...
С большой мечтой служения народу
Я ушел, из детства торопясь...

Все-таки детдомовцы по воспитанию и коллективному житию настоящие социалисты.

Я отучился год, сильно отощал, изрядно поизносился, но был рад, что перешел на второй курс. В летние каникулы решил подработать где-нибудь, чтобы купить себе кое-какие шмотки и новую зиму встретить основательнее. Зима есть зима. В парусиновых туфлях много не набегает.

Молодой завуч техникума Алексей Иосифович Нестеренко вызвал меня в кабинет и огорошил новостью:

— Профсоюзный комитет, учитывая, так сказать, твое бедственное положение, выделил тебе бесплатные путевки на два сезона в Верхотомский дом отдыха. Чтобы ты окреп, поднабрался сил и все такое...

От такого известия я просто ошалел. С одной стороны, я и мечтать не смел о таком подарке — отдыхать рядом с детдомом. Да еще где отдыхать? В одном из лучших домотдыхов Кузбасса. Мне ли не знать, как там богато кормили. Лазили мы и за ранними огурцами в домотдыховский огород, чуть позже за спелыми помидорами, чистили иной раз курятники, а был случай, когда мы поймали на крючок, предназначенный для ловли пескарей, глупую курицу. Правда,

вкуса ее мы не извели — нас на этой «рыбалке» застукал сторож: курица больно громко кричала. Сторож домотдыха, которому мы досаждали хуже комаров, хоть и проявлял к нам терпимость и доброжелательность, на этот раз был неумолим и отодрал нас солдатским ремнем так, что у меня до сих пор сохранилась неприязнь к живым пеструшкам.

В этот-то домотдыха мне предлагал ехать Алексей Иосифович. Как отказаться? С другой стороны, если буду летом только отдыхать, какая мне тетья принесет хотя бы пиджак и штаны?

Я промолчал, вместо того чтобы высказать свои сомнения или просто поблагодарить, а завуч счел мое молчание за согласие и подвел итог:

— Ну вот и хорошо! Ешь больше, поправляйся! Отдыхай!

Алексей Иосифович Нестеренко, став директором техникума, всегда оказывал мне всяческую помощь, и позднее, когда он стал секретарем Кемеровского горкома партии, я всегда находил у него сочувствие и поддержку. Его я считал настоящим коммунистом.

Прежде чем продолжить свой незамысловатый рассказ, я хочу напомнить читателям посвящение моей повести «Здесь я живу»: «Всем, кому я обязан жизнью, посвящаю». Так эту повесть я посвятил и уважаемому мною до сих пор Алексею Иосифовичу, и Серафиме Дмитриевне Павловской, и Ирине Федоровне Целым, и многим другим преподавателям Кемеровского химико-механического техникума. Без их помощи и участия я не знаю, кончил бы я техникум или кончил жизнь. А такие грустные истории с детдомовцами случались. Помню Галю Бобину, тихую мечтательную девочку, всегда с книгой. После детдома в шестнадцать лет бросилась под поезд...

Устроившись в домотдыхе, плотно пообедав, я тут же отправился в детдом. Говорят, беда не ходит одна. Но с того дня я решил, что и везение идет за собой везение.

Директор детдома встретил меня, к моему изумлению, довольно радушно. Расспросил про учебу, похвалил за первый курс и неожиданно предложил мне поработать лето в детдоме старшим пионервожатым. Я чуть было не спросил, видимо, от счастья, а как же быть с домотдыхом? Но я успел сжать плотно губы, и вопрос мой застрял где-то в переносице, отчего раздались звуки, похожие на сморкание.

— Ну и как? — повторил вопрос Вениамин Алексеевич.

— А я смогу?

— Сможешь!

Так в пятнадцать лет у меня появилась трудовая книжка и первая запись: принят в Верхотомский специальный детдом № 3 старшим пионервожатым. Дата. Красивая подпись Каменского.

А я-то считал, что простился с детдомом навсегда. Оказалось, нет. И в дальнейшем я часто прощался с детдомом, с Верхотомкой, и каждый раз, казалось, ну в этот-то раз навсегда. Но я снова возвращался туда, в свой дом, в свое детство, и если реже раз от раза, то были на то причины. Но в мыслях своих я никогда не простился с Верхотомкой навсегда, пусть она теперь совсем другая и кажется почти чужой хотя бы даже потому, что где когда-то был наш детский дом с деревянными, продуваемыми всеми ветрами корпусами, теперь высится кирпичное капитальное трехэтажное здание Верхотомской спецшколы. А высокий забор с колючей проволокой — почти точная копия тюремных исправительных лагерей...

Есть и банальное выражение: жизнь

меняется. И я осмелюсь согласиться с этим.

До войны в Верхотомке был костно-туберкулезный санаторий. Сосновый благодатный воздух нес исцеление.

Потом был специальный детский дом № 3, куда были собраны со всего Кузбасса почти все дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Слово «специальный» подчеркивало не только это: для ленинградских детей, истощенных, больных и слабых, был усилен рацион питания.

Теперь здесь спецшкола для малолетних правонарушителей...

В первое лето (потом я был еще четыре раза) я, кажется, сносно справился с ролью старшего пионервожатого. А если случалось порой, что на вечерней линейке директор отчитывал меня наравне с другими пионерами — не удивляйтесь, среди них были и мои сверстники. Тот же Шиндер. Его оставили на второй год в седьмом классе, и пока я перебивался в техникуме целый год с хлеба на воду, он в сытости и тепле успешно усвоил науки за седьмой класс и окончил его без троек. Я завидовал ему тогда, но, видимо, напрасно. Он на следующий год поступил в авиационно-строительный техникум, проучился, а вернее, провалял дурака полгода, «очистил» своих товарищей по общежитию и исчез навсегда, будто получил пожизненный тюремный срок. Вот уж он-то с Верхотомкой простился раз и навсегда.

Была в пионерской дружине и моя любовь — Зойка Комарова, но я с ней не осмелился ни разу заговорить, будто дал зарок молчания. А сейчас, пусть и поздно признаться, было это потому, что я все еще любил ее, но не мог простить «измены».

В тот год моего вожатства мы ходили в недолгие походы, пололи огороды своего довольно крупного подсобного хозяйства, продолжали по-

садки молодого сосняка за детдомом. Того самого, который превратился сейчас в молодой лес и где расположились потом многочисленные летние дачи детских садов. И хотя было грустно, что наши посадки, ставшие лесом, поредели, в то же время жила во мне какая-то скрытая гордость и приятно было сознавать, что лес этот посажен нашими руками. А голые карпузы бегают, глазают на огромного дыдьку и даже не подозревают об этом...

Недавно я был приглашен на встречу со школьниками Верхотомской средней школы. Встречи со школьниками я люблю, по-моему, это самые внимательные и любопытные слушатели, а в перспективе это наши читатели. Скажу по совести, поехал я в Верхотомскую школу с грустным чувством, хотя кроме школьников мне предстояла встреча с героем моего рассказа «Дядя Ваня», с моим уважаемым педагогом, дорогим мне человеком, пусть и был он всего-навсего инструктором по труду.

Хотелось обняться с Иваном Антоновичем Клоповым, поговорить о детдоме и детдомовцах, короче, побыть с человеком, которому уже за восьмой десяток, но к которому все еще привязаны, все еще тянутся детдомовцы, многие уже сами ставшие дедами и бабками.

Приехал я в Верхотомку на автобусе, по асфальтовой ленте. Отметил про себя прогресс цивилизации. Раньше в Верхотомку вела ухабистая тропинка, пыльная летом и непроезжая в распутицу.

Вышел из автобуса, и на меня хлынули «ароматы» химии, словно я никуда не уезжал и все это время стоял в проходной «Карболита» или же в цехе азотной кислоты. Совпадение поразительное, хотя недалеко был сосновый бор, а рядом с Домом куль-

туры — обыкновенное деревенское кладбище.

Что мы приобрели, раздвинув границы заводов? Честно сказать — не знаю. А потеряли многое. Пашни, которые тянулись до самого города, — потеря? Да еще какая! Воду пить из Томи в районе Верхотомки нельзя; предупреждающие знаки «Купание запрещено» стали обычным явлением. Реку Чесноковку, впадающую в Томь в районе деревни, сгубили, хотя делалось многое, чтобы спасти ее...

Избушка у Ивана Антоновича Клопова маленькая, аккуратная. Хочется на нее смотреть и смотреть, как на красивую вещь. Срублена еще его отцом. Здесь Иван Антонович и родился. Комната, кухонька, сенцы. Во дворе чисто, как у хорошей хозяйки в доме.

— Что, дядя Ваня, так и живешь один?

— Да вот с котом Васькой.

— А внучки бывают летом?

— Раньше часто бывали. А теперь видишь воздух какой? Как у вас в городе, а когда подует ветер по ложине, по руслу реки, так и вовсе дышать нечем. Форточки закрываем. Что здесь внукам-то делать? Да и в огороде уже ничего не растет, все от дождей ржавеет. — Он замолкает, сидит долго, задумчиво, а начинает говорить, говорит без горечи, как старые люди, мол, чему быть, того не миновать. — А помнишь, склоны от помидор красным-красны были. Сейчас же как ясное солнышко в непогоду — редко засветит на корню, да и то с одного бока... Вечером выйдешь, посмотришь на звезды, на бор в темноте, на склоны, как будто не изрытые, и подумается вдруг чудно: то ли снова родился, то ли уже прощаюсь с миром, — неожиданно закан-

чивает он. Потом смеется. — Живу долго, а жить охота. Кругом все другое... Не то хуже, не то лучше. А все же свое. Вся жизнь здесь. Только на войне четыре года...

Долго говорит о войне. Я записываю весь его ратный путь. И снова удивляюсь, что даже ранен не был. А выходной костюм в орденах и медалях.

— Видишь! — дядя улыбается довольно. — Позади, Гена, никогда не был...

Потом вспоминаем детдомовцев: девчонок, пацанов, воспитателей. Перебиваем друг друга, дополняем, подсказываем, напоминаем. То говорим почти одновременно, то умолкаем, то говорит лишь дядя Ваня. Я внушаю себе — мне его надо слушать, а не болтать самому. И я почти добился этого, но вдруг говорю:

— Мне всегда хочется в Верхотомку, а еду сюда, как на похороны... — спохватываюсь, долго молчу и наконец добавляю: — Еду словно прощаться с детством, а внутри надежда — прощания никогда не будет.

Мы долго стоим обнявшись, потом дядя Ваня меня легонько отпихивает и говорит:

— Ты смотри там, не хулигань.

— Постараюсь, — отвечаю я, как отвечал всегда ему и всегда нарушал свое обещание.

Не оборачиваясь, долго иду по деревенской улице. Стою на мосту через Чесноковку. Хочу идти в детдом, вернее — на территорию бывшего детдома. Долго раздумываю, но идти не решаюсь. А если совсем честно — боюсь. Мне кажется, там, за высоким забором, за колючей проволокой укордкой плачет мое собственное детство и зовет меня...

СВОЙ ГОЛОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



В студии «Свой голос» занимаются пишущие стихи и прозу юные и молодые люди, родившиеся в семидесятые-восемидесятые годы, то есть через 30—40 лет после нашей Победы в Великой Отечественной войне. Их деды отстояли мир. Они пришли в этот мир и пишут о нем.

В этой публикации читатель увидит и конкретный пример, когда дружеское общение деду и внука дает материал для литературного творчества. Артем Шумов пишет о своем дедушке, который в Отечественную воевал с фашистами, а после нее работал в органах МВД. И хотя в этой подборке больше нет ни строчки о войне, появление ее на страницах журнала, посвященного 50-летию Победы, считаю оправданным и необходимым. Потому что здесь, пусть и не во всей полноте, представлен взгляд нового поколения. Поколения, которое выбирает отнюдь не пепси, а нормальные человеческие ценности. И в том числе, и прежде всего — любовь к родителям, к дедушкам и бабушкам, к старшему поколению, которое победило и дало возможность им и всем нам — жить. И свободно творить, не ограничивая себя всевозможными рамками.

Итак, не грех повториться, сегодня нашей Победе — 50 лет. А студийцам, авторам публикации, от 11 до 23 лет. Неизбежные в произведениях самых юных авторов шероховатости и несовершенства связаны с недостатком мастерства, которое приобретается со временем.

Это — первая для всех членов студии «Свой голос» журнальная публикация.

В добрый путь!

Иосиф Куралов,
руководитель студии «Свой голос»

Антонина Трофимова

* * *

Каждый раз попадая впросак,
Удивляюсь поступкам без смысла.
Я от них не избавлюсь никак,
Все висят на душе коромыслом.

Я от них не могу убежать.
А еще от учебы — хоть тресни!
Всё Карнеги пытаюсь читать
И пою его речи как песни.

Вижу грустные сны наяву
Я — подросток нелегкого века.
Отчего так тоскливо живу,
Не урод, не бандит, не калека?

* * *

Три толстые тетки в обнимку идут
И горькую водку в авоське несут.
— Простите нас, детки, — одна говорит, —
У нас со вчерашнего глотка горит!

Настал женский праздник, и кружит весна.
А женская доля — так тяжка она...
Подружки и я вслед им долго глядели,
В ответ ничего возразить не сумели...

* * *

Я когда-то уйду навсегда,
Я когда-то уйду насовсем.
Будут также гудеть провода,
Только я уже стану никем.

Мне представить себя неживой
Нелегко. Ты прости и поверь!
Ну а если... То волком не вой,
Не смотри одиноко на дверь.

Я не буду в ней жалко скрипеть
И мешать тебе спать по ночам.
Буду долго и стойко терпеть
И не звать. Буду ждать тебя там.

Я значительно старше тебя
И старше на тысячу лет,
Не спеши кричать «да!», не любя.
Лучше так... Ты представь — меня нет!

Артем Шумов

ЭТО МОЙ ДЕД

...Жесткий холодный ветер подывал в переулках, гнал по мостовой колючий снег. Мрачные, промерзшие облака летели по небу, роняя на затаившуюся Москву колкую ледяную крупу. Ветер проносился по затемненным улицам, врвался на Красную площадь и волнами накатывался на стены Кремля. Шквалы колючего снега влетали в открытые кузова полутроков и впились в шинели, в ушанки,

в суровые лица сидящих в машинах мотострелков. Где-то там, во вьюжной мгле, шли бои за Москву. А по Красной площади, лязгая металлом, двигалась военная техника. С грохотом проползали «тридцатьчетверки», окрашенные в белый маскировочный цвет; рыкали моторами «студебеккеры» артиллеристов, ровно рокотали мотострелковые полутроки... Раздвигая радиаторами вьюжные сумерки, ма-

шины неторопливо проплывали перед мавзолеем Ленина и, выехав с площади, на полном ходу уносились в сторону фронта. Было седьмое ноября сорок первого года.

В этом историческом параде, состоявшемся в трудное для страны время, принимал участие и мой дед — Федор Николаевич Шумов, тогда комсорг полка Отдельной Мотострелковой Дивизии Особого Назначения. Сразу же после парада полк возвратили на Истринский рубеж обороны, километрах в шестидесяти от Москвы.

Боевая задача у всех была одна — устоять во что бы то ни стало. И стояли. Немцы не отличались тактическим разнообразием — атаковали по нескольку раз в день, но все их атаки проходили примерно по одной схеме: впереди цепью шли танки, а вслед за ними пехота. Отражаться немецкие атаки тоже должны были одним способом: пропустить вперед танки и отсечь пехоту пулеметным огнем. Это в теории. На практике все было, конечно, сложнее.

Танки без сопровождения пехоты вроде бы становились уязвимыми не только для артиллерии, но и для ручных гранат, а пехоту, оставшуюся без броневого прикрытия, просто можно подавить пулеметным огнем. Опять-таки в теории. А на практике... Вы пробовали подбить танк гранатой?..

Мой дед вспоминает такой случай.

Было это в двадцатых числах ноября, ближе к вечеру. Полк моего деда стоял на левом берегу Истры. Солнце уже подбиралось к горизонту, когда немцы пошли в очередную атаку. Цепь танков с глухим ревом ползла по полю, исполосованному следами множества ног и гусениц. Вслед за ними бежали автоматчики. Периодически рывками пушки — наши и немецкие. В снегу вспухали дымные бугорки разрывов.

Яростно застучали пулеметы. Но вот немецкая пуля сразила «первый номер» пулеметного расчета. Пулемет захлебнулся. Дед бросился к пулеметчикам, чтобы выяснить, почему прекращен огонь. Вот я пишу «дед»... И самому странно: ведь мой Федор Николаевич был тогда очень молод. Однако продолжу. Поняв в чем дело, он сам встал к пулемету. Несколько секунд — и пулемет вновь ударил по врагу. Точными очередями он вновь прижал к снегу немецких мотострелков. Так прошли следующие полчаса — грохотал пулемет, яростно били по ладоням рукоятки, дымились в снегу стреляные гильзы... Только в сумерках немцы отступили, бросив в снегу расколотый снарядом танк.

А потом было общее наступление по линии Калуга—Тула—Калинин. Фронт отодвинулся от Москвы на несколько сот километров и относительно стабилизировался. Наступившую передышку использовали для замены порядком измотанных частей свежими. Отдельная Мотострелковая была отведена на отдых в подмосковный городок Реутово.

29 ноября сорок первого года погибла Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Мой дед был лично знаком с ее матерью — Любовью Тимофеевной Космодемьянской и братом Александром, впоследствии также Героем Советского Союза.

После гибели Зои мой дед, как комсорг, передал ее матери письмо от комсомольцев полка, а впоследствии поддерживал переписку с Александром Космодемьянским до самой его гибели.

В конце февраля сорок второго мой дед был переведен в отдельный полк связи. Там его также избрали комсоргом. Обслуживал полк телефонной связью участок фронта большой протяженности. Моему Федору Николаевичу в день приходилось нахаживать

по несколько десятков километров.

Во время знаменитой Курской битвы полк, где служил мой дед, обеспечивал связью танковую армию генерала Рыбалко. Это были жаркие дни во всех смыслах слова. Жара стояла за тридцать. Танковые части постоянно меняли места дислокации, приходилось снимать старые линии и проводить новые. Это не считая того, что приходилось «штопать» бесчисленные повреждения от пуль и осколков.

Потом дед воевал в Белоруссии. Шел к концу 1944 год. Война тоже медленно, но верно приближалась к своему концу. Но не всегда спокойно было в освобожденных городах и селах. В то время по лесам пряталось великое множество разнообразных банд. Тут были и бывшие полицаи, и предатели всех мастей, и просто уголовные элементы. С оружием проблем не было — на местах сражений его валялось сколько угодно. По своим зверствам бандиты едва ли не превосходили ушедших гитлеровцев. Ежедневно происходили грабежи, убийства, поджоги... Ликвидировались банды по большей части оперативным путем. Занимался этим отдел по борьбе с бандитизмом (ББ), к которому был теперь прикомандирован и мой дед. Служба в органах внутренних дел стала для Федора Николаевича Шумова делом его жизни. Окончив Ленинградское училище МВД, в срок восьмом году он был переведен в Кемерово, в отдел борьбы с бандитизмом: банды тогда бесчинствовали по всей стране.

Это был трудный период для органов внутренних дел. Милицию приходилось практически создавать заново — слишком много сотрудников в годы войны ушло на фронт и слишком много оттуда не вернулось... А вот криминальных элементов за годы войны расплодилось видимо-невидимо. И почти все они были вооружены.

В Кемерово мой дед приехал 28 июля 1948 года, а уже 6 августа был командирован в Прокопьевск раскрывать два убийства сторожей в поселке Школьном и селе Терентьевском. Судя по почерку, в обоих случаях действовала одна преступная группа...

Постепенно крупные бандитские группы были ликвидированы, и в 1951 году отдел борьбы с бандитизмом упразднили за ненадобностью. Мой дед был переведен на должность начальника следственного отдела...

В Кемерове есть коротенькая — всего метров двести — улица, выходящая на площадь Советов. Улица Анатолия Никитовича Коломейцева. Сейчас уже почти никто не помнит, кто такой был Анатолий Коломейцев, хотя в свое время о нем говорили и писали достаточно много. Суть дела такова.

В начале пятидесят третьего года в Предзаводском поселке организовалась крупная — около полутора десятков человек — банда, возглавляемая рецидивистами Лаптевым и Силаевым. Деятельность свою бандиты начали с налетов на сельские магазины, сопровождавшихся убийствами сторожей. Действовали преступники грамотно — вдалеке от своего места жительства, иногда в других городах. Брали оружие — охотничьи ружья, из которых изготовляли обреза. И почти везде банда оставляла за собой убитых. Водитель облфинотдела, сотрудник милиции, два сотрудника госбезопасности... Впечатляющий список!..

Самое дикое в этом деле то, что оба сотрудника КГБ погибли лишь потому, что в машине Силаева, кстати тоже угнанной и тоже с убийством, кончился бензин, а бензоколонки поблизости не было. Бандиты Силаев и Лаптев «тормознули» первую встречную машину, оказавшуюся машиной Топкинского горотдела КГБ, в упор расстреляли водителя и пассажиров,

откачали бензин из бака и сожгли автомобиль.

На ноги была поднята вся милиция области. В первый же день удалось установить примерную численность банды и район базирования. Еще через несколько дней Лаптев и его сообщник Фролов, которым вновь потребовалась машина, попытались угнать автомобиль из гаража облвоенкомата, который тогда находился на месте нынешнего крытого рынка. Сторож успел сообщить о нападении в милицию. По тревоге выехала оперативная группа — майор милиции Михеев, старший лейтенант Коломейцев и лейтенант Леонов.

Бандиты все-таки сумели завладеть машиной военкомата. Началась погоня. Через некоторое время оперативная группа настигла их неподалеку от старого вокзала. Завязалась перестрелка. У бандитов было два пистолета ТТ и обрез. В перестрелке был убит один из преступников — Лаптев и тяжело ранен старший лейтенант Коломейцев, скончавшийся через несколько часов в больнице.

Захваченный работниками милиции бандит Фролов довольно быстро начал давать показания. Через несколько часов были взяты и остальные члены преступной группы.

Мой дед, тогда старший лейтенант милиции, возглавлял следственную группу по делу банды Силаева—Лап-

тева. Когда после гибели Анатолия Коломейцева моего деда срочно вызвали на службу (в три часа ночи), ему и в голову не приходило, чье убийство придется расследовать. Он хорошо знал Анатолия Коломейцева еще по отделу ББ...

А потом был суд. Бандиты получили различные сроки заключения, главари — высшую меру наказания.

Всю группу сотрудников милиции, расследующую это дело, наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Кроме того, за расследование убийства Анатолия Никитовича Коломейцева мой дед был награжден именными золотыми часами. Сейчас они хранятся в Музее УВД Кемеровской области...

Его имя занесено в Почетную книгу УВД.

Я не знаю, сколько всего преступлений раскрыл мой дед Федор Николаевич Шумов, не знаю, сколько предотвратил. МВД и журналисты ведут статистику, сколько раскрытых и нераскрытых преступлений совершено на данной территории в данный период, но никто не знает, сколько преступлений предотвращено за тот же период на той же территории усилиями таких вот честных сотрудников милиции, беззаветно преданных своему делу, каким был мой дед. Никто не знает, сколько семей избежали беды благодаря им. А жалко...

Елена Солодянкина

* * *

А мне ковер пушистый на диван,
Цветного телевизора экран,
Цветы в тяжелых глиняных горшках
Да ласковая кошка на руках.
А мне лиловый вечер за окном
И мой привычный ужин за столом.
Из радио на кухне льется альт..
А я хочу, чтоб мордой об асфальт.
А я хочу, чтоб камнем по виску
Да чтоб в стакан зеленую тоску.
А мне бы, чтобы плетью по спине
Да чтоб в цепях да на сырой стене.
А мне бы локти и колени в кровь.
Да чтоб на плаху за свою любовь.

* * *

Ты вспомнить попробуй волос своих цвет,
И друга глаза, и вчерашний рассвет.
В ночных небесах свою тень разгляди.
Босыми ногами по бритве пройди.
С разбегу в кипящую прыгни смолу.
Найди в поле ветер, а в стоге иглу.
Услышь, как зовет сердца стук за стеной
И как плачет сын неродившийся твой.
В холодной душе свое имя зажги.
Дыхание чье-то в руках сбереги.
И, может быть, только тогда ты
поймешь,

Кто ты и зачем в этом мире живешь.

Елена Кочубей

Я ЕЩЕ ЗАЙДУ

— Ты больше никогда не придешь? — на одном дыхании выпалила она, опуская глаза. Ей бы хотелось сказать эти слова твердым, решительным голосом, но почему-то получилось быстро, скомканно и невнятно. Она сделала усилие, медленно подняла голову и посмотрела на него. Глаза ее в этот миг были ошеломляюще пусты и одновременно бездонно-глубоки. В них смешались боль, отчаянье, надежда, мольба...

Он мог бы увидеть все это, но не увидел, потому что не захотел, потому что он уже давно возвел между ними непробиваемую стену, о которую вдребезги разбился ее взгляд.

Он слегка пожал плечами и ответил:

— Хорошо.

Она и не ожидала другого ответа, но, услышав его, дернулась как от

удара и поспешно отвернулась.

— Я думаю, так будет лучше для нас обоих, — пролепетала она заготовленную фразу, чувствуя, как глаза наполняются слезами.

Он шуршал курткой, одеваясь, и не ответил.

Она неловко вытерла слезы тыльной стороной ладони и повернулась к нему:

— Значит, договорились?

— Хорошо, — спокойно повторил он, без улыбки глядя на нее.

— Будь счастлив. Не болей, — она собрала последние силы и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась бледной и бесцветной. — Спасибо тебе за все...

— Но ведь ничего же не было?

— ...за все, что могло бы быть, — закончила она. — Прощай.

— Прощай, — он медленно открыл

дверь, вышел и так же медленно закрыл ее за собой. Некоторое время она слушала его удаляющиеся шаги. Потом подошла к окну и окинула двор внимательно-бездумным взглядом. «Зима... Снег...— уставившись в одну точку, вяло думала она.— Было лето, когда я познакомилась с ним...»

Неожиданно она опомнилась. «Что, что же я наделала? Зачем я сказала ему это? Он же больше не придет! Как я буду жить без него? Я же не смогу! Что мне теперь делать?»

Короткий миг замешательства прошел. Не раздумывая больше, она, как была в легком халате и тапочках на босу ногу, бросилась за ним. Она не бежала, а летела вниз, перепрыгивая через полпролета за раз.

Он уже вышел из подъезда и быстро шел по узкой тропинке, почти невидимый в вихре бурана.

— Подожди-и-и...— неожиданно услышал он за спиной срывающийся голос. Обернулся и заметил тонкую фигурку, с разбегу свалившуюся в сугроб. Он торопливо подбежал, вытащил ее, раздетую, с заплаканным лицом, из снега и повел домой. Она не сопротивлялась.

Дома механически опустилась на кровать и заплакала-заскулила горь-

ко и жалобно, больше не сдерживаясь. Он сидел рядом, печально смотрел на нее, не говоря ни слова.

Постепенно она успокоилась, перестала всхлипывать, покраснела и молчала, отвернувшись от него. Он повернул ее к себе, вытер слезы на щеках и несколько секунд внимательно смотрел в глаза.

— Ты же понимаешь, что я не могу заставить себя полюбить тебя,— медленно сказал он.

Она молчала, слезы опять катились по щекам.

— Я могу сделать вид, что люблю тебя, но от этого никому не будет лучше,— он потряс ее за плечи.— Понимаешь?

— Да, да, я все понимаю,— безвольно-согласно кивала она головой, совершенно не вникая в смысл его слов.

— Ну и ладно. Я пойду,— он встал и направился к двери.

— Ты... ты... ты...— она встревоженно потянулась ему вслед, слова застревали в горле, голос дрожал.

— Я еще зайду,— успокаивающе произнес он и вышел.

Она доплелась до двери и закрыла ее. Потом упала на кровать и мгновенно уснула.

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

14 февраля 1945 г.

На польско-германской границе наши пехотинцы наставили плакаты со стрелками, направленными на Германию, с надписями вроде таких: «Вот перед нами проклятая Германия» или «До Берлина осталось 120 км».

Вообще-то, мама, сейчас я работаю много, и частенько приходится туго. Позавчера в момент разведки аэродрома немцев на меня навалилось 8 истребителей. Одно время допустил мысль, что домой не прилечу. Но все же выкрутился... В общем воюем по-прежнему хорошо, настроение бодрое.

С сыновним приветом Валентин

Николай Долженков

ОСЕНЬ

Соловьи не поют в опустевшем саду,
Не плавают лебеди в нашем пруду.
Дождь моросит,
Собака завyla,
Кошечка спит,
Про мышку забыла.
Я вышел во двор —
На дворе уныло.
Посмотрел на бор —
Сердце заныло.
Цветы увядают
У меня на глазах.
Скворцы улетают,
— Прощай! — не сказав.

ВЕСНА

Весна наступила в сибирской долине
И лес пробудила ручьями своими.
Цветы распускаются в ближнем лугу,
Соловей заливается в нашем саду.
Грачи прилетели
В родные края,
Все птицы запели.
Прекрасна Земля!

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ

Даты нет

Здравствуйте, многоуважаемые мои родные! Шлю вам свой чистосердечный, горячий привет. Уважаемые мои родные, хочу вам сообщить, что я получил орден Красной Звезды. Вот у меня пока все. На этом я кончаю. С приветом к вам ваш брат

Ваня

Даты нет

...Я очень счастлив, исполнилось мое желание — ты родила мне сына. Сын, сын — нет слов моему счастью! Благодарю тебя, моя родная, моя милая мамочка, за все твои муки, низкий тебе поклон от меня... Сейчас у меня единственная просьба к тебе: храни его, я очень хочу, чтобы он вырос здоровым и сильным...

Ваш муж и отец

Максим Линник

МЕЧТА

Во сне мне часто снится:
Корабль быстроходный мчится,
Юный капитан у руля,
Это, конечно, я.

Хочу побыть я в жарких странах,
Наесться досыта бананов.

Под жарким солнцем погулять
И в разных реках понырять.

Мечтаю часто побывать
В местах я очень разных,
Но нет же в мире мест таких,
Сибирских мест прекрасней.

Андрей Кушнарев

ЗАБЫТЬ ДЕТСТВО

Отрывок из повести

Я не знал, сколько времени уже шел по Зоне. Не помню, как добрался сюда. Я ничего толком не осознавал. Куда я иду и с какой целью? Сейчас я был никто. Во мне не было сил что-либо предпринимать. Осталась только ненависть, и больше ничего.

Я шел, опустив голову, глядя себе под ноги и засунув руки в карманы. Иногда за спиной слышались какие-то шорохи, приглушенное завывание, но я не останавливался. Вдруг я замер на месте, увидев, как к моим глазам выпрыгнул откуда-то мячик-попрыгунчик. Я не верил своим глазам. Это был Серегин мячик. Но как он мог попасть сюда? Единственная вещь, которая напоминала мне покинутый мир, лежала у моих ног. Я опустился на корточки и взял в руки попрыгунчик.

Подняв голову, я увидел стоящее в нескольких шагах от меня существо. Оно походило на человека. Сначала я подумал, что это такой же пацан, как и я, но большие глаза, странный

нос и безгубый рот заставили меня усомниться. Нет, я ничуть не испугался при виде отродья Зоны. Ну и что? Я его не боюсь. Я знал, что рано или поздно это случится. Только так я могу оказаться там, где мама и папа. Тем временем существо откуда-то из своей одежды достало нечто, напоминающее ружье с ручкой, магазином и еще какими-то приспособлениями. Все это выглядело довольно устрашающе. Но даже тогда, когда этот мальчишка-мутант направил на меня свое оружие, я оставался совершенно спокоен и смотрел на него безразличным взглядом: «Интересно, что ему от меня нужно?»

— Встань и брось мне эту штуку, — я чуть не ошалел, услышав эти слова, прозвучавшие у меня в голове. «Он может говорить со мной через мой мозг! Ну и что? Все равно я уже мертвец, может, это и к лучшему, я уже иду, мама и папа». Я медленно встал, заметив, как удивленно посмотрело на меня существо после этих моих мыслей.

— Теперь кидай!

«Какого черта я должен отдавать мне мячик?»

— Ну! — настойчиво раздалось в голове. Я подкинул ему мячик. Все-таки я боялся умирать. И вдруг я вздрогнул. Когда мутант ловил мячик, он чуть развернулся спиной ко мне и я увидел на нем винтовку отца. Я ее сразу узнал! По прикладу шла синяя полоска, а под ней чуть заметная надпись: «Ромка». У меня перехватило дыхание при виде убийцы моего отца. И одна мысль закрутилась у меня в голове — «Убей это! Убей! Отомсти за всех. Убей!» Слово прочитав мои мысли, тот вскинул голову, снова повернулся ко мне. Но было поздно! Никогда в жизни я не совершал ничего подобного и не знал, что могу такое. Одним прыжком я очутился рядом с ним. Машинально, как будто делал это каждый день, я ударил его по руке, в которой было оружие, и ребром ладони нанес удар мутанту по горлу. Тот захрипел и, пошатнувшись, шагнул назад, держась за место удара. Я изумленно остановился, глядя на него. «Как я так?.. Убей! Убей его! Он убил твоего отца». Существо кашляя прислонилось к какой-то трубе. Его оружие по-прежнему было направлено на меня.

— Я никого не убивал. Остановись, чужак, — услышал я сдавленный голос у себя в голове. Оно опустило оружие, глядя на меня, как мне показалось, совсем добрыми глазами. Но ненависть все еще кипела во мне. Я видел винтовку отца и не мог сдерживать своей ярости. Я схватил с земли какую-то железяку и пошел на спокойного стоящего мутанта.

«Слабак чертов! Сейчас ты у меня получишь».

И тут я услышал знакомые мне с детства голоса из ближних развалин. Там стояли мои родители и звали меня.

— Рома, иди сюда, к нам!

«Всевышние силы! Они живы! Но как так? Все равно они там! Но я же знаю, что они умерли. К черту! Никто не умирал, это был сон. Здесь настоящее, и я в Зоне. Плевать, главное, что они меня зовут и я иду».

Я шагнул к ним.

— Стой, — теперь я слышал голос, а не посыл мутанта. — Это не твои родители. Они убийцы, пойми!

Я шел не оглядываясь к своим родителям. Между нами оставались какие-то пять шагов, как вдруг я увидел то, что сразу разрушило мои мечты. У них были черные провалы вместо глаз. Дальше я мало что уже понимал. Удар в плечо, и я отлетаю в сторону. Мутант забегает вперед, поднимая свое оружие. Лица, знакомые мне с детства, превращаются в страшные маски. Из оружия мутанта плевком вылетает сгусток какого-то светящегося вещества, за которым тянется хвост как у кометы. Заряд попадает в грудь одного из самозванцев и откидывает его на шаг назад. Светящиеся пятна начинают расти, въедаясь в его тело. Второй кидается в атаку, но другой сгусток вещества отбрасывает его от моего спасителя. Я зачарованно смотрел на два трупа с дырами в груди.

— Добро пожаловать в Ад. Ты получил первый урок, — мутант присел рядом со мной. — Только я не пойму твою тупую затею прийти в этот мир.

— Я сам точно не знаю, — резко сказал я. — Ну-ка дай сюда винтовку! Я поднял железяку.

— Я не хочу тебе зла. Я не убивал твоего отца, пойми.

Я замахнулся.

— Ну ладно, ладно, — усмехнулся тот и снял с плеча винтовку. — Держи.

Я потянулся рукой, но тут же оказался на земле, а ствол винтовки уперся мне в горло.

— Слушай ты, воображала! Я мог

бы тебя давно угрохать. Меня эта жизнь кой-чему научила. Здесь свои законы.

Я попробовал вырваться. Какой я идиот!

— Слушай меня. Еще раз повторяю — я не хочу тебе зла. Я понял твои чувства. Но будет лучше, если ты уйдешь отсюда, ясно?

— Никогда, — прохрипел я.

— Да тебе здесь не место. Ты из того мира! А эту винтовку я нашел рядом с обглоданными костями. Это ужасно, но мы бессильны против этого мира.

— Кто это — мы?

— Я против так же, как и вы, но я вынужден жить здесь, а ты сейчас встанешь, и я тебя провожу...

Екатерина Зайцева

* * *

Я жду ответного удара,
Но все вокруг спокойно спит,
Ведь больше нет земного шара,
Нет мостовой из серых плит.

Нет дома, стройки, нет подъезда,
Нет темноты и нет огня,
Ни для кого нет больше места,
Нет никого и нет меня.

* * *

Я не могу подняться в небеса,
Ведь мне мешают кандалы.
Я не могу пустить из лука
Тобою сломанной стрелы.

Я не могу вздохнуть свободно,
Я не могу пуститься в путь.
Я отдохнула бы охотно,
Но мне мешают отдохнуть.

ОРГАН

Наполнен воздух чистотой,
Когда звучит орган.
Звук разливается кругом,
Похоже на фонтан.

И звук течет, бежит ручьем,
Заполнив все сердца.
Внутри людей орган звучит —
И нет ему конца!

Артур Комков

ТАИНА ВСЕЛЕННОЙ

Пульсирует сердце вселенной,
Приоткрыт тайны жизненный лик.
Я хочу на бумаге презренной
Начертать, что узнал и постиг.

Лицеизреп я звезды свет загадочный,
Мир иной и течение судьбы,
И вселенские общие разумы,
Равнодушные к звукам мольбы.

Я стою на пороге сознания,
Эволюции путь познаю.

Предо мной свет всех тайн мироздания,
Заводь времени вижу мою.

Возвращение ах как мучительно,
Мир вселенной я мог изучить,
Жизнь на брэнной земле оскорбительна.
И об этом лишь можно скорбеть.

Я — исследователь, я — Землянин,
Жалкий узник Земли, дерзкий путник
Вселенной,
Путь тернист мой, опасен и страшен,
Но я к цели приду несомненно.

Андрей Павлов

ПОМИНКИ

...Антонина Ивановна, 60-летняя женщина, умерла ночью: не выдержало сердце. Поминки справлялись в квартире умершей. Управляла ими сестра Антонины Ивановны — Лизавета. Она была на 6 лет моложе покойной.

...Вчера вечером Лизавета обзванивала всех соседей, сообщая о начале поминок. В их доме уже находились те, кто готовил какое-нибудь блюдо: Иван-сосед и несколько пожилых женщин. Была и Нина Яковлевна Марыгина, еще со школьных лет подруга покойной, имевшая привычку всюду приходить раньше назначенного времени.

Тем временем Катя, дочь покойной, открыла дверь ипустила Ивана Ильича Лбова, лысого старика, Пет-

ра, любителя спорта и выпить, посещавшего все спортивные соревнования в городах, где он жил: от футбола до автогонок. «Кузбасс» (Кемерово) — это вам не «Химик» (Гродно) и не «Селенга» (Улан-Удэ), — говорил он, посещая матчи «Кузбасса».

Вскоре пришли Инна Федоровна, старушка шизоидного вида, Ирина Максимовна Терехина, женщина с болезненным лицом желтого цвета, и еще несколько человек.

Сели за стол. Поминки начались. Сначала пожелали покойной царствия небесного, выпили по рюмочке, попробовали кутьи и блинов. Затем принялись за основные горячие блюда, налегая в основном на гуся с капустой и запивая водкой и вином, ко-

торое принесла одна добросердечная старушка, так как хозяева пожалели на него денег.

Наевшись и напившись допьяна, соседи погрузились в пьяные разговоры, а старик Лбов надел очки и стал внимательно разглядывать большое желтое пятно на диване... Петр начал рассказывать Ивану о преимуществах игры в хоккей с мячом клюшкой для обыкновенного хоккея. Кто-то говорил об успехах своих детей в школе: «У нее 2 четверки: по физкультуре и астрономии»... Услышав, что речь идет о школе, Нина Яковлевна Марыгина неожиданно во весь голос заявила:

— А ведь Тонька-то покойная в старших классах не училась, а только по мальчишкам бегала!

Старик Лбов продолжал с удивлением смотреть на диванное пятно.

Инна Федоровна начала с таинственным видом говорить, что соседям доверять нельзя.

— Одна женщина, очень хорошая знакомая твоей мамы, сказала, что твоя мама пила! Я не буду называть имени! Она очень хорошая ее знакомая!

Ее речь прервалась словами Ирины Максимовны Терехиной, которая с глупой ухмылкой произнесла:

— Вы смотрите, Катька с Лизкой, из-за наследства не передеритесь!

Вопрос о наследстве интересовал очень многих в этом доме.

Об этом говорит то обстоятельство, что письмо, присланное матери дальними родственниками, Катя нашла вскрытым в своем почтовом ящике.

А Инна Федоровна с таинственным шизонидным видом продолжала выговаривать Кате:

— Твоя мама не случайно ночью умерла! У нее лекарства было много. Может, она покончила с собой, отравилась?

Бедная Катя! Что ей приходится слышать на поминках собственной матери! Ее настроение еще более ухудшилось, когда Нина Яковлевна Марыгина, вдрызг пьяная, запела, прищелкивая пальцами, под всеобщее одобрение:

Ой, цветет калина в поле у ручья!

Парня молодого полюбила я!

Парня полюбила на свою беду...

— Хорошо сидим!

Поминки. И кажется, вот-вот Нина Яковлевна Марыгина пустится в пляс.

...Наконец Иван Николаевич Лбов отошел от пятна и прямо сказал:

— Антонина Ивановна была такой чистоплотной, а у нее пятно желтое на диване!

Инна Федоровна таинственно повернулась к Кате и проговорила:

— Твоя мать не случайно умерла ночью — может быть, ее убили! Это версия ее очень хорошей знакомой! Ее...

Она не договорила, как ее опять, как и в прошлый раз, прервала Ирина Максимовна Терехина:

— Да, кстати, к вопросу о чистоплотности! Когда была жива твоя мама, Катя, на диване не было этого пятна!

— Вы хотите сказать, что это я его посадила? — вспыхнула Катя, которой уже порядком надоело такое поведение соседей.

— Да что ты вскипятилась? — спросила ее тетя Лизавета Ивановна.

— А вам приятно будет, если вам намекнут, что вы грязнуля!

Расстроенная, чуть не плача, вскочила Катя из-за стола и убежала вон из квартиры.

А «хорошо сидим» с Лизаветой Ивановной и Ниной Николаевной Марыгиной, которая после еще одного выпитого стакана вина стала еще веселее, продолжалось...

Дмитрий Мурзин

* * *

Под неритмичный молоток
Идет весна с аукциона.
По мановенью ветки клена
Последний продан лепесток.

И не осталось от весны
Ни запаха, ни первоцвета.
Повсюду торжествует лето,
И только мы не прощены.

Нам не осталось больше места
Под неритмичным молотком.
Смешаем время с молоком.
А что получим?.. Неизвестно...

* * *

Растительность уходит из-под ног
По срочным ботаническим делам.
Трава пробила корнем потолок
И разбрелась по скошенным углам.

Сбываются предсказанные зимы.
Испорченный латаю потолок.
И все быстрее, все необратимей
Растительность уходит из-под ног.

Проходят не задерживаясь дни.
У осени особенная статья.
Деревья остаются. Не одни
На этот раз мы будем зимовать.

* * *

Компьютер любви рифмует двоичные коды.
А ты говоришь, что мы еще не влюблены.
Ты ждешь дождя у неба своей погоды.
Я жду тебя у неба своей весны.
Каждый посев предполагает всходы.
Откуда ты знаешь, что мы еще не влюблены?
Весна потакает. Зима принимает роды.
Но мы старожилы не слишком-то южной
 страны.
И небо любви не делает здесь погоды.
И зимы так длинны на фоне короткой весны.

* * *

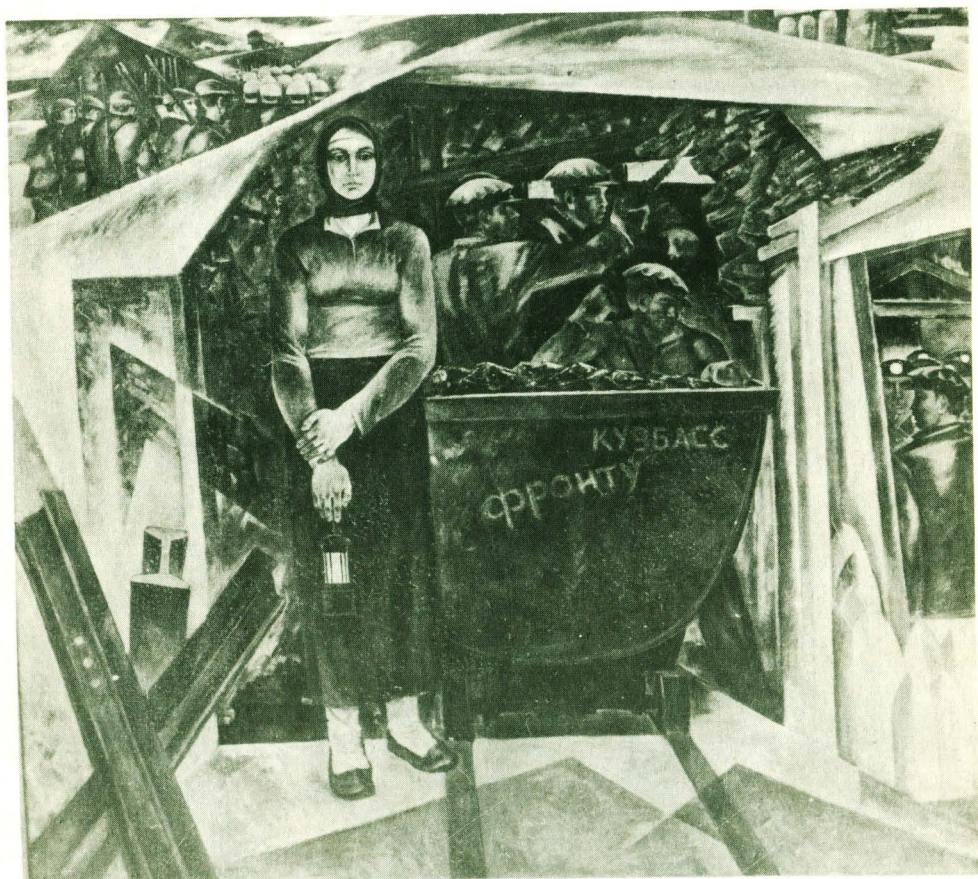
Я с тобою сыграл в безупречность,
Ты со мною сыграла в упрек.
Пробивая навзрыд бесконечность,
Первым делом пробьешь потолок.

Плач по двум неубитым поэтам.
Смех по мертвому четверостишью.
И несешь свое тяжкое бремя
Театральным биноклем на крышу.

Здесь есть шанс, растоптавши глаза,
Обесцветить слезой окуляры
И, погнавшись отчаянно за
Бликом света, поверить Икару.

Так же быстро расплавится воск.
Тронет перья лихой огонек.

Вот заняться бы промыслом звезд,
Но опять на пути потолок.



Г. Степанов „Кузбасс фронту“

4.000-

Когда земля цветет лучистым маем,
А дни его — огнями красных дат,
С какой мы острой болью вспоминаем
Войною похороненных солдат!

...Русь не однажды в будущие годы
Почтит их память в громе майских гроз
У Вечного огня самой природы —
У пламени зеленого берез.

1943

М. Небогатов

